

Я В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ...



№ 11 июнь 1977



**СМЕНА**

ВЕЛИКИЙ  
60  
ОКТЯБРЬ

Вехи нашей истории

РЕВ

**В**ремя неумолимо отсчитывает годы.

Октябрь 1917 года. Вот уже без малого шестьдесят лет отделяют нас от событий, потрясших мир, давших жизнь первому государству трудящихся.

Дни Октября—для многих из нас это уже история. Но живы еще те, кто сам творил эту историю. С тремя из них—Федором Кондратьевичем Бельченковым, Петром Федоровичем Савлуком и Константином Григорьевичем Аршавским—я встретился этой весной в Ленинграде и попросил рассказать об их участии в легендарных событиях. Каждый прожил большую, интересную жизнь. Бельченков пошел по военной стезе, закончив службу генерал-майором технических войск. Аршавский стал профессором, преподавал общественные науки, Савлук руководил сахарными заводами. Но самым знаменательным событием в своей жизни все они считают участие в Октябрьской революции. Понятно, что разными дорогами шли они к Октябрю. Но в их судьбах обнаруживаются и общие черты. Эти черты характерны для тысяч рабочих, крестьян, солдат и матросов России, участвовавших в восстании.

— Я родом из смоленской деревни Горохово—начал свой рассказ Федор

Кондратьевич Бельченков—в 1914 году, еще и семнадцати не исполнилось, поехал в Питер на заработки. Поступил в имение великого князя Николая Николаевича недалеко от Стрельны. Была в имении дизельная электростанция, и меня взяли помощником к мотористу. Проработал я там два года, а в мае 1916-го меня досрочно призвали в армию. Определили в гвардию: весил я в то время пять пудов и на рост не жаловался—186 сантиметров.

В нашем корпусе было 12 полков лейб-гвардии и четыре гвардейских. В каждый подбирали солдат по внешним признакам. Темноволосые, с правильными чертами шли в Преображенский полк. Длиннолицые—в Семеновский, курносые и чернявые—на царя Павла I похожие—в Павловский, блондины—мы их звали хлебопаками—в Измайловский.

Распределили нас по полкам, сводили в баню, обмундировали в цейхгаузе, накормили и только после этого развели по казармам. Наша рота помещалась на Миллионной—ныне улица Халтурина, 33—рядом с Эрмитажем. Между нами и дворцом—только Зимняя Канавка да Горбатый мостик через нее.

Летом месяца два мы обучались в Красном Селе военному искусству. А когда начальству показалось, что мы постигли все, что необходимо, и уже готовы жизни свои отдать за царя и

отечество, нас привели к присяге, полковой поп окропил святой водой, погрузили в теплушки и отправили на Юго-Западный фронт, в район Луцка. Брусиловский прорыв к этому времени уже затухал. Но ожесточенные бои продолжались. Против нас стоял полк немецкой лейб-гвардии имени Фридриха Великого. Сходили мы в атаки третьего, седьмого и девятнадцатого сентября. Попадут слева команду.

— Вылезай!  
Выскочишь из окопа—и вперед, винтовки наперевес. Немцы штыковой бой не любили. Они нас из пулеметов старались косить да еще артиллерийским огнем. Как-то я добежал до вражеских траншей, оглянулся, а поле нашими убитыми усеяно. Как целыми шли, так рядками и лежат... В общем, за три дня боев в Преображенском полку половина солдат погибла. В нашей, пятнадцатой роте из 167 штыков в строю осталось всего 34—мы всегда в первой цепи шли.

После этих боев я заметил: настроение у гвардейцев упало. А тут еще в окопах листовки появились. Я четыре зимы отходил в деревенскую школу и считался образованным, а многие не читали, не писать не умели. Но листовки эти были так написаны, что их смысл мог постичь самый забитый мужик. Войну пора кончать. В стране разруха. В городах народ голодает, рабочие бастуют, казаки их нагайками разгоняют. В деревнях скот уводят с крестьянских дворов за недоимки.

Я-то об этом еще в Стрельне от рабочих слышал.

К концу года начались у нас братания с немецкими солдатами. Сходились в овражке между позициями, махоркой угощались, хлеб на сахар меняли. Особых политических разговоров не вели. И так было понятно: война надоела всем.

Как-то подходит ко мне унтер-офицер Волков.

— Умеешь язык за зубами держать?—спрашивает.

Он и раньше, замечал я, приглядывался ко мне, прислушивался, о чем говорю.

— Да уж не проболтаюсь.— отвечаю.

— Сходи в гвардейский саперный батальон, скажи, что хочешь увидеть унтер-офицера Шаповалова, земляка своего.

Отправился я к саперам. Это верст пять в тыл. Показали мне землянку, где живет Шаповалов. Дал он мне пакет с листовками, велел отнести к своим. Так я стал связным между большевиками в саперном батальоне и нашем полку.

Революционизировались солдаты быстро. Когда произошла Февральская революция, нас построили побатальонно и зачитали сообщение об отречении царя от престола в пользу брата Михаила. А через несколько дней сняли с позиций и отправили в Луцк, откуда предстояло,



# ОЛЮЩАЯ

Леонид ПЛЕШАКОВ

как объяснили, ехать в Петроград на отдых и переформирование.

И вот в Луцке, когда эшелоны уже подали для погрузки на платформе появилась группа солдат-артиллеристов во главе со штабс-капитаном Игнатьевым — как я позже узнал большевиком — командовавшим противосамолетной батареей. Он предъявил нашему командиру ультиматум:

— Или будет прекращена погрузка, или батарея откроет по эшелону огонь прямой наводкой.

Солдаты-артиллеристы быстро объяснили нам суть дела.

— Вас, дураков, везут на подавление революции.

Мы возмутились: в Питер не поедем.

Но вскоре Бельченков все-таки оказался в Питере. Через три дня после

возвращения на фронт во время артиллерийского обстрела он был тяжело контужен взрывом снаряда, угодившего в их блиндаж. Он был без сознания, пока его везли санитарным поездом в столицу.

В апреле он пошел на поправку и участвовал на митинги, которые разные партии проводили тогда по всему городу. Госпитальное начальство зачислило

кончат, заводы нужно отдать рабочим, землю — крестьянам. Но солдатская масса была разнородной. Некоторые мои однополчане были настолько темными, что не понимали самых простых

его в «обольщившиеся» и, не долечив до конца, отправило в резервный полк, куда собирали выздоравливавших преобразенцев, перед тем как снова бросить на фронт. Он оказался в старых казармах, в которых бродило уже иное, чем год назад, настроение. Не осталось прошлого ура-патриотизма. Февральская революция не дала того, о чем мечтали солдаты, вчерашние крестьяне и рабочие. «Война до победного конца» продолжалась. А цену они ей знали.

— Почти каждый день мы ходили группами на митинги. Из всех выступлений больше всего нравились речи большевиков, — продолжает рассказ Федор Кондратьевич. — Все в их словах казалось простым и ясным, с войной пора

вещей. Как-то после очередного митинга вернулись мы в казармы, стали рассказывать, что большевики предлагают забрать землю у господ и раздать крестьянам, а в ответ слышим:

— Этого нельзя делать: это не по-божески. Бог дал людям землю — отбирать ее грех.

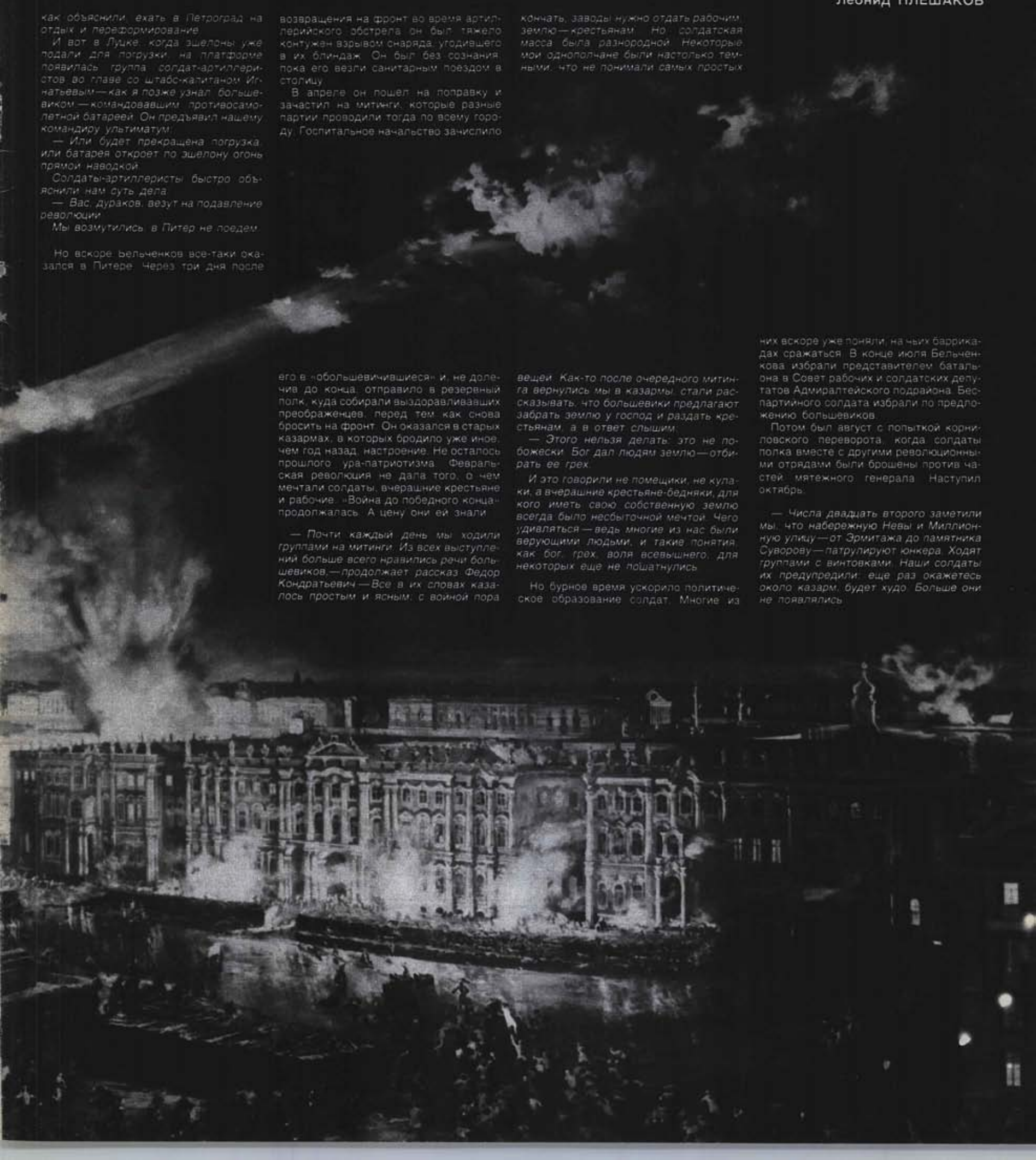
И это говорили не помещики, не кулаки, а вчерашние крестьяне-бедняки, для кого иметь свою собственную землю всегда было несбыточной мечтой. Чего удивляться — ведь многие из нас были верующими людьми, и такие понятия, как бог, грех, воля всевышнего, для некоторых еще не пошатнулись.

Но бурное время ускорило политическое образование солдат. Многие из

них вскоре уже поняли, на чьих баррикадах сражаться. В конце июля Бельченков избрали представителем батальона в Совет рабочих и солдатских депутатов Адмиралтейского подрайона. Беспартийного солдата избрали по предложению большевиков.

Потом был август с попыткой корниловского переворота, когда солдаты полка вместе с другими революционными отрядами были брошены против частей мятежного генерала. Наступил октябрь.

— Числа двадцать второго заметили мы, что набережную Невы и Миллионную улицу — от Эрмитажа до памятника Суворову — патрулируют юнкера. Ходят группами с винтовками. Наши солдаты их предупредили: еще раз окажется около казарм, будет худо. Больше они не появлялись.



Основан в январе 1924 года. Выходит два раза в месяц.

№ 11 (1201) ИЮНЬ 1977

МОСКВА, ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»



Наша обложка:  
УЧАЩИЕСЯ  
МОСКОВСКОГО ПТУ  
№ 128.

Фото  
Сергея ПЕТРУХИНА

**1** К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ. ВЕХИ НАШЕЙ ИСТОРИИ.  
«РЕВОЛЮЦИЯ».

**4** ПУТЬ В РАБОЧИЕ.  
«ХОЧУ БЫТЬ НА НЕГО ПОХОЖИМ...»  
Сочинения учащихся профессионально-технических  
училищ.

**6** НОВОЕ ИМЯ.  
Стихи Сергея КРЫЖАНОВСКОГО.

**7** ФЕСТИВАЛЬ ПОЭМЫ.  
Валентин СОРОКИН. «СИНЕВЫР».

**8** Рассказ Юрия НАГИБИНА «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ».

**12** Георгий БАЖЕНОВ, Альберт ЛЕХМУС. «МОСТ ПОД РЕКОЙ».

**14** ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ.  
Николай ЛЕЛИКОВ. «ЧЕСТНОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ».

**16** РЕПОРТАЖ ОБ ИНТЕРЕСНОМ.  
Антон КУЗЬМИН, Эдуард ЭТТИНГЕР. «ЗЕЛЕНЫЙ ОБЕД».

**18** МИР БЕЗ БУДУЩЕГО.  
Михаил ОЗЕРОВ. «ТРИ СУДЬБЫ».

**20** ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ.  
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН. «АКВАРЕЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ  
НИКОЛАЯ БЕСТУЖЕВА».

**24** Повесть Анатолия ЖАРЕНОВА «ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».

**28** Мохаммед АЛИ: «Я БЫЛ ВНЕ ЗАКОНА».

**31** ЭКСКЛЮЗИВ «СМЕНИ».

Главный редактор А. А. ЛИХАНОВ

Редколлегия: В. С. АБАШИН, А. П. КУЛЕШОВ, В. В. ЛУЦКИЙ (заместитель главного редактора), Г. Л. НЕМЧЕНКО, В. Г. ПОБЕДОНОСЦЕВ (ответственный секретарь), Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Е. И. РЯБЧИКОВ, В. А. САЮШЕВ, Г. В. СЕМЕНОВ, А. П. СЕРЕДА, Г. С. ТЕРЗИБАШЬЯНЦ (главный художник), Б. А. ФАИН, Д. Н. ФИЛИППОВ, О. Н. ШЕСТИНСКИЙ.

Художник В. В. Вантусов. Технический редактор Л. И. Курлыкова.

© Издательство «Правда». «Смена». 1977 г.

Двадцать четвертого в казармах шли бесконечные собрания. Митинговали в физкультурном зале. Вольноопределяющийся Чудновский, наш преображенец, назначенный к нам комиссаром Военно-революционным комитетом Петроградского Совета, призывал полк выступить в полном составе за Советы, против Временного правительства. Полковой же комитет, возглавляемый капитаном Путилыным, фронтовиком, авторитетным среди солдат, предложил придерживаться нейтралитета: просто закрыть казармы и отсидеться, пока обстановка не прояснится...

...Прервем на этом рассказ солдата-преображенца, чтобы восстановить обстановку, которая сложилась в это время в штабе вооруженного восстания — в Смольном.

Ночью 24 октября в Смольный прибыл Владимир Ильич Ленин. С этого момента он лично возглавил подготовку и проведение восстания. В 71-й комнате Смольного располагается Военно-революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов — главный штаб, осуществляющий руководство операцией. В час тридцать пять пополудни отряд солдат и матросов из Смольного занял почтамт. В два часа ночи — телеграф, под утро — военную гостиницу, а в семь часов — телефонную станцию. В десять часов Зимний дворец был оцеплен революционными войсками.

Утром 25 октября Владимир Ильич написал первый документ Октябрьской революции. Это было обращение Военно-революционного комитета к широким массам трудящихся. В. Д. Бонч-Бруевич тут же отвез его в типографию, и оно, датированное «25 октября 1917 г., 10 ч. утра», было опубликовано в № 8 большевистской газеты «Рабочий и солдат».

Этот номер вышел к полудню, содержание и текст воззвания по телефону передали в другие газеты.

Вот этот ленинский документ.

**«К гражданам России!**

**Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.**

**Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства — это дело обеспечено.**

**Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!**

Было ясно, что революция победила, однако и утром и днем 25-го продолжалась напряженная работа ВРК, отряды которого занимали одно за другим правительственные учреждения.

В два часа тридцать минут дня открылось экстренное заседание Петроградского Совета. Ликованием было встречено сообщение о том, что Временное правительство больше не существует, что некоторые его министры уже арестованы, а остальные будут арестованы.

Совет бурно приветствовал пришедшего на заседание В. И. Ленина. В своем докладе Владимир Ильич говорил о задачах, которые стоят перед Советской властью, за осуществление которых надо приниматься вплотную.

Вечером должен был открыться II съезд Советов, которому предстояло провозгласить власть Советов и официально закрепить одержанную победу.

Но в Зимнем еще заседало Временное правительство. Военно-революционный комитет Петроградского Совета готовил силы к последнему штурму. Вот как описывает это член Военно-революционного комитета К. С. Еремеев:

«Быстро идет Н. И. Подвойский с какими-то бумагами в руках.

— От ЦК поручение, — говорит он. — Надо покончить со штабом и ликвидировать юнкеров. Выделяется полковой штаб, которому и поручено это сделать: Бубнов, Антонов, Еремеев и я. Временное правительство надо будет арестовать. Сейчас будем совещаться. Собираемся в какой-то укромный уголок...

— Пусть Подвойский осветит обстановку...

Николай Ильич суммирует сведения: на нашей стороне весь гарнизон, все рабочие. Вооруженной силы достаточно. Вокзалы, телефоны, телеграфы — наши. На их стороне — батальон. Есть артиллерия. Нейтральны: 1, 4, 14 казачьи полки, инженерный полк, Павловское училище, Михайловское артиллерийское училище, кавалерийские полки, артиллерийская кавалерийская бригада, самокатный батальон, автомобильная школа, инженерное училище, один автобронеполк, Семеновский полк, измайловцы...

— Преображенский полк тоже нейтрален, — заявляет Чудновский. — Вчера обсуждали. Сколько ни бились, полковой комитет свое: не будем принимать участия в выступлении. И за Временное правительство не пойдём.

— Черт возьми! Это очень важно: казарма полка у самого Зимнего дворца. Может быть, они снюхались там с юнкерами?

Решено: Чудновскому взять кого-нибудь в помощь, поручистов, из военных, и мчаться в полк. Попытаться склонить их к выступлению или гарантировать невмешательство».

...Известно, какую большую роль сыграли в октябрьских событиях матросы-балтийцы. Вот как описывает подготовку революционного флота к восстанию председатель Центробалта П. Е. Дыбенко:

«...Наш сигнал о выступлении — телеграмма из Петрограда за подписью Свердлова на мое имя: «Выслать устав». Это значит: выслать в Петроград миноносцы и десант в пять тысяч человек».

Планомерно, без лишней суеты мы ведем подготовку. Времени осталось немного. Постепенно, один за другим, направляем в Петроград «для ремонта» вышедшие из строя в последних боях корабли...

Крейсер «Аврора» спешно заканчивал тогда ремонт, чтобы отправиться в Гельсингфорс на присоединение к своей бригаде. Необходимо было как можно дольше задержать его в Петрограде.

В ночь на 22 октября телеграмма с «Авроры»: «Приказано выйти в море на пробу и после пробы следовать в Гельсингфорс. Как быть?» Центробалт отвечает: «Произвести пробу 25 октября».

О тех днях вспоминает бывший матрос посылного судна «Смелый» Петр Федорович Савлук. (В Питер он тоже приехал семнадцатилетним. Приехал из волынской деревни на заработки, потому что у его отца было десять душ детей и ни клочка земли, а батрацкий труд в казенном лесу или на скотном дворе у помещика кормил плохо. Устроился Петр Савлук в Кронштадте. Работал в порту матросом на буксирах и «торгашах». Потом его досрочно мобилизовали во флот, но оставили в Кронштадте, только перевели рулевым на «Смелый».)

— Наш корабль в боях не участвовал, — рассказывает Петр Федорович, — но я знал о них от товарищей, которые возвращались после сражений в Кронштадт. Слышал я и о настроениях, царивших в матросских экипажах. Разобраться в происходящем мне помог мой друг большевик Александр Костин, которого я знал с четырнадцатого года, когда он, курсант мореходного училища, проходил практику на нашем корабле. В октябре 1917-го он мне сказал:

— Интересные события приближаются.

Что именно, не уточнил, но по тону нетрудно было догадаться. Как раз в это время я вступил в партию и знал о ее курсе на свержение Временного правительства.

Рано утром двадцать пятого октября на Соборной площади начался большой митинг. Ораторы призывали к свержению правительства Керенского и передаче власти Советам. А потом вынесли резолюцию идти на Петроград. И сразу началась погрузка вооруженных матросов на корабли. Тут же, на митинге, я увидел Костина. Он говорит:

— На большое дело идем.

Вместе мы поднялись на минный заградитель «Амур», который вскоре отошел от стенки и вместе с другими кораблями взял курс на Петроград. Над Финским заливом стоял туман, так что шли не очень быстро. Наши командиры совещались на крыле ходового мостика. Смотрю, идет оттуда Костин и говорит мне:

— Иди встань на руль.

— Но тут же есть свой рулевой! — отвечаю.

— Иди, так надежнее будет.

На руль так на руль. Дело привычное. Часов в 14— туман уже рассеялся — вошли в морской канал, потом в Неву, стали чуть ниже Николаевского моста, прямо следом за «Авророй». Выгрузились на берег, заняли позицию в Александровском саду, у Адмиралтейства. Матросов и красногвардейцев собралось там очень много.

О том, как готовился к штурму петербургский пролетариат, мне рассказал Константин Григорьевич Аршавский, бывший в те дни одним из руководителей Василеостровского райкома партии. Несмотря на молодость, Аршавский имел достаточный опыт подпольной работы. Семнадцатилетним вместе со своим одноклассником Пантелеймоном Порняковым создал революционный кружок в иркутской гимназии, в котором вскоре насчитывалось более 80 учащихся. Гимназисты изучали марксистскую литературу, вели пропаганду среди иркутских рабочих. В январе 1914 года подпольный Иркутский комитет партии принял Аршавского в ряды большевиков. Потом учеба в Одесском университете. Снова подполье. Арест. Ссылка в Иркутскую губернию. И опять революционная работа. И еще одна ссылка — в Якутию. Побег с этапа. Отчаянное, без документов путешествие по железной дороге из Иркутска в Петроград. Революционное подполье, жизнь по фальшивой справке, выданной студенту-медику психоневрологического института. Явочные квартиры, листовки, ночевки у знакомых людей, давших приют «незаконно» с боевой кличкой «Гвоздь».

Первый день февральской революции он завершил в подвале полицейской части Васильевского острова.

— В то утро — я снимал комнату у одной старушки на Петроградской стороне — я увидел, как против нашего дома толпа человек в триста громит булочную.

— Долой спекулянтов! — кричат.

Вижу, надо митинговать. Влез на тумбу на углу улицы, говорю, что, мол, не булочные надо грабить, а свертать строй, который привел страну к разрухе. Тут как раз со стороны улицы Зеленина идут со знаменами рабочие завода «Вулкан». Объединились мы, двинулись на Васильевский остров «снимать», как тогда говорили, с работ тамошних заводы. А проще: звать рабочих на демонстрацию. Чем дальше идем, тем больше нас. К гавани дошли — уже несколько тысяч. Но тут нас ждали городские. Они наступали цепями, умело рассекая рабочих. В какой-то момент меня оттерли от товарищей, скрутили, и в участок. Дня через четыре солдаты с красными бантами сбили прикладами замок с дверей подвала.

— Выходи! — кричат. — Свобода!

Вышел я на улицу — участок горит, рабочие брошенное полицией оружие разбирают.

Он активно включается в работу Василеостровского райкома партии. Несколько раз слушает выступления В. И. Ленина, а потом разъясняет на рабочих митингах и собраниях смысл ленинских идей. 4 июля во время расстрела Временным правительством мирной демонстрации он шел с рабочими и революционными матросами по Невскому.

— Когда ударили с крыш пулеметы, — вспоминает Константин Григорьевич, — мы были как раз на пересечении Невского и Садовой. Матросы, в военном деле народ более опытный, сразу кинулись под своды Гостиного двора, куда не доставали пули, остальные демонстранты — следом.

В то время нам, большевикам, было трудно: верх в Советах держали меньшевики и эсеры. Но к октябрю перевес был уже на нашей стороне. Особенно это чувствовалось в промышленных районах города. Тогда я выполнял два поручения райкома партии: возглавлял Совет фабрично-заводских комитетов предприятий Васильевского острова и был политработником в Красной гвардии района. Фабрично-заводские комитеты де-факто проводили рабочий контроль в промышленности еще до победы Октябрьского восстания. Помню, в начале года пришлось к хозяину завода:

— Почему закрыли предприятие?

— А вам какое дело? Вы рабочий контроль? Вот и занимайтесь вдовами, солдатскими семьями. В хозяйственные дела не лезьте, не то юнкеров вызову.

А в октябре все уже было по-иному. Приходишь к хозяину, у тебя за спиной красногвардейцы.

— Пожалуйста, проверяйте! — говорит. — Вы рабочий контроль.

Утром 25 октября нам сообщили, что Ленин в Смольном. Стало ясно, что в ближайшие часы должно решиться очень многое. По приказу штаба Красной гвардии мы срочно формировали рабочие отряды Василеостровского района, направляли их в важные стратегические пункты, в том числе к Николаевскому мосту, чтобы не дать юнкерам развести его. Там отряды соединились с матросами-балтийцами, с ними пошли к Зимнему.

К вечеру нам позвонили и приказали прислать красногвардейцев для охраны Смольного. Быстро грузим отряд на автомобили. У меня тоже дело в Смольном. Там на третьем этаже помещался Центральный Совет фабрично-заводских комитетов, где работали хорошо знакомые мне большевики В. Я. Чубарь, С. Г. Уралов, А. М. Амосов. Воззвание ВРК, которое мы получили днем, объявило Временное правительство низложенным. Вот я и решил посоветоваться с товарищами о работе фабрично-заводских комитетов в новых условиях. Вскоре начался штурм Зимнего...

Чтобы лучше представить обстановку сил в тот октябрьский вечер, после бесед с Бельчиковым и Савлуком я прошел от бывших казарм Преображенского полка через Зимнюю Канавку, Дворцовую площадь к Александровскому саду. Всего три минуты потребовалось, чтобы перебежать из конца в конец всю территорию, которую еще контролировал к исходу 25 октября 1917 года правительство Керенского. Собственно, участь правительства фактически была predetermined еще утром.

Мы прервали рассказ Федора Кондратьевича Бельченкова на том, что полковой комитет преображенцев решил держать нейтралитет в предстоящих событиях. Но у солдат было иное мнение на сей счет.

— Утром двадцать пятого октября, — продолжает Бельченков, — я и еще человек десять наших пошли посмотреть, что нового в городе. Идем через

Дворцовую площадь, Фонтанку. Раньше тут юнкерские и офицерские патрули ходили, сейчас никого. На Невском — вооруженные рабочие, матросы, солдаты, чем ближе к Главному штабу, тем больше народа.

Вернулись мы к себе. А тут всё митингуют, всё уговаривают солдат придерживаться нейтралитета. Побежал я в Совет подрайона, это тут же, на Миллионной, через три дома. Там говорят:

— По существу, город в наших руках. Временное правительство практически свергнуто, осталось его арестовать. Держите связь с Павловским полком, видимо, скоро придется вместе выступать.

Когда возвратился в роту и рассказал солдатам об обстановке, мы решили, что нейтралитет нам ни к чему.

В шесть вечера, уже смеркалось, наша рота вышла во двор. К ней присоединились солдаты из других рот. Дежурный офицер начал было говорить о постановлении полкового комитета держать нейтралитет. Но мы так ему ответили, что он сразу убрался. Караул у ворот присоединился к нам, и вот мы уже на Миллионной. Перед нами Горбатый мостик через Зимнюю Канавку, дальше, в нескольких десятках шагов, за дровяной баррикадой, парадный подъезд Эрмитажа со знаменитыми фигурами атлантов.

Стоим мы, переминаемся с ноги на ногу, чтоб не так мерзнуть, обсуждаем, как будем брать мостик и баррикады, когда подадут сигнал к атаке. Опыта хватало понять, что, если засевишь в Зимнем юнкера догадываются поставить в окна второго этажа пулеметы, они перекосят всех на Миллионной. А кроме нас, тут уже были павловцы, вооруженные рабочие, матросы...

В девять вечера 25 октября засевавшее в Зимнем Временное правительство дало радиограмму:

«...Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов объявил Временное правительство низложенным, потребовал передачи ему всей власти под угрозой бомбардировки Зимнего дворца пушками Петропавловской крепости и крейсера «Аврора», стоящего на Неве. Правительство может передать власть лишь Учредительному собранию, а посему постановило не сдаваться и передать себя на защиту народа и армии...»

Народ и армия дали ответ через сорок минут. По сигналу из Петропавловской крепости прогремел выстрел баковой шестидюймовки «Авроры». Начался штурм Зимнего дворца.

— Когда я услышал орудейный выстрел, — вспоминает Федор Кондратьевич Бельченков, — в голове сразу мелькнула мысль: «Холостым пальнули». Это от фронтального опыта. Со стороны Дворцовой уже неслаась ружейная трескотня. Кинулись и мы вперед. Не помню, как перемахнули Горбатый мостик, баррикаду из поленьев, вскочили в первый же подъезд Эрмитажа.

Еще несколько минут назад мы просто коченели от холода перед Зимней Канавкой, а тут чувствую, весь взмок от жары. Все-таки мы здорово перенервничали, ожидая пулеметные очереди. Но в нас не стреляли.

Внутри дворца, как известно, большие дворы. Смотрю, соняют туда юнкеров и разоружают. Побежал я по залам проверять, чтоб никто не спрятался, и заблудился, не знаю, как выйти. Вдруг оказался в каком-то тупичке, а навстречу пять юнкеров с винтовками. Думаю: всё. Но успел-таки крикнуть:

— Вашего брата во дворе собирают. А ну пошли!

И мы пошли во двор, и там «мои» юнкера сдали свои винтовки...

— Когда начался штурм, — рассказывает П. Г. Савлук, — я вместе со всеми бросился на Дворцовую площадь. Стрельба была не очень сильной, я

даже не видел убитых. В Зимний я не прорвался, так как всем туда и невозможно было попасть, столько на площади было народу. Я вошел в небольшой отряд, и нас послали патрулировать улицы, вокзалы, чтобы был порядок.

— А я еще долго ходил по Зимнему, — продолжает Бельченков. — В какой-то момент ночью, когда еще собирали юнкеров, слышу, говорят: «Ведут». Смотрю, ведут министров Временного правительства. У кого пальто надето, у кого просто на плечи накинуто. На площади их окружила толпа. Кричат все, чувствовалось, могут учинить самосуд. Но кто-то из красногвардейских командиров приказал нам оцепить министров в три ряда, и пошли мы таким порядком сначала по Миллионной, а потом свернули на набережную Невы. Разъяренная толпа отстала, и мы поняли, что для сопровождения министров в Петропавловскую крепость так много охраны не нужно, и я с несколькими солдатами вернулся на Дворцовую площадь.

Баррикады из бревен уже разбросали, повсюду горели костры, и люди грелись у огня. Какой-то штатский в кожанке, по всему видно, командир, подошел ко мне, говорит:

— Солдат, иди к той вон двери часовым.

Там уже было трое часовых. Задача наша: смотреть, чтоб никто не выносил из дворца ничего. Но революционный народ проявил высокую сознательность, и мы задержали только одного солдата: хотел чайник серебряный вынести. Уже совсем рассвело, когда я отправился в казарму отдыхать...

Временное правительство было арестовано в два часа десять минут ночи с 25 на 26 октября.

«Этой же ночью, — пишет в своих воспоминаниях В. Д. Бонч-Бруевич, — самолетчик привез в Смольный донесение главнокомандующего Подвойского о взятии Зимнего дворца и об аресте Временного правительства. Владимир Ильич находился в то время в комнате Военно-революционного комитета. Тут были Сталин, Дзержинский, Свердлов и некоторые другие товарищи. Узнав о победе, все закричали «ура», дружно подхватившее сотней красногвардейцев, находившихся в соседней комнате. Через минуту крики «ура» уже неслись отовсюду...»

— Туда, к массам! — сказал Владимир Ильич.

И мы двинулись цепочкой по широкому коридору Смольного, до отказа набитого людьми...

В зале заседаний Смольного собирается митинг...

— В Центральном Совете фабрично-заводских комитетов я засиделся за полночь, — рассказывает К. Г. Аршавский. — Настроение у всех было приподнятое, возбужденное. А когда пришла весть, что Зимний пал, началось всеобщее ликование. Мы проработали всю ночь и утро. Время летело быстро. Когда товарищи сказали мне, что сейчас в зале заседаний будет выступать Ленин, я спустился на второй этаж. У дверей зала толпились много народа, но пройти внутрь, видимо, не удавалось. Я пробился к двери. У нее дежурили знакомые красногвардейцы.

— Товарищ Аршавский, проходи.

И я, не будучи делегатом съезда, вошел в зал. Ильич был на трибуне. Узнал я его с трудом: отсутствовала борода. Ведь незадолго до восстания Ленин, скрываясь от шпиков, должен был сбрить бороду, загримироваться, носить парик...

Ленин говорил о самом сокровенном: о мире, о земле. Я посмотрел на сидевших в зале рабочих, солдат, крестьян, матросов. Они с каким-то особенным, непередаваемым воодушевлением слушали речь своего вождя, вождя только что свершившейся революции...

# “ХОЧУ БЫТЬ НА НЕГО ПОХОЖИМ...”

Центральный комитет ВЛКСМ, Госкомитет СССР по профтехобразованию и Министерство просвещения СССР провели среди учащихся профессионально-технических училищ и школ конкурс на лучшее сочинение, тема которого: «Берем с коммунистов пример». Будущие рабочие, юноши и девушки, рассказали о том, кого они считают Человеком с большой буквы. Герои их сочинений — наши современники, участники революции, гражданской и Отечественной войн, передовые рабочие, мастера ПТУ — коммунисты.

## ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Если вам когда-нибудь случится побывать в нашем городе, взойдите на Круковую гору, где по соседству с чудесным сосновым бором находится общежитие нашего ССПТУ-6, и взгляните на город. Утром вы увидите в сизой дымке рассвета зигзаги улиц, ряды черепичных крыш, много деревьев, красоту Стрипу, несущую свои тихие воды к Днестру.

Я люблю наш город Бучач, его приветливых жителей, старые дома, улочки.

рашют, пробитый пулей авиационный шлем.

Учащиеся нашего ССПТУ узнали о жизни и гибели героя.

14-летним пареньком поехал Федор в Донбасс, туда, где очень нужны были его молодые руки. Работал в Донецке, в тресте «Донбассжилстрой». Честно работал. Об этом говорят Почетная грамота ударника второй пятилетки, звание «Первого бойца на фронте социалистического строительства».

## ШКОЛА АНИБРАЕВОЙ

Мне повезло — я проходила производственную практику в цехе № 4 швейной фабрики «Знамя индустриализации», где работает знаменитая женщина, коммунистка Мария Васильевна Анибраева. Я уже видела ее по телевизору, на встрече в нашем училище. И вот я наблюдаю за работой Марии Васильевны — ее рабочее место совсем рядом с моим. Смотрю и удивляюсь, как она выполняет отделочную строчку по краю борта: в один миг разложена на столе часть кроя, мгновенно входит ткань под лапку машины и, какой бы длины ни была, пронесется под иглой. А у меня самой? Сижу первый день за конвейером, с завистью смотрю на Тому Гузову — сама девчонка, выпускница нашего училища, а как работает! У меня же и складки, и пузыри, и шов кривой, и нить рвется. Но как хочется показать, что и я что-то умею! Стараюсь с каждым днем делать работу лучше и качественней, ведь стыдно делать плохо, глядя на мою наставницу Марию Васильевну. Я не переставала удивляться умению Анибраевой и решила расспросить ее подробнее о «тайнах мастерства».

Основная ее операция — запуск деталей кроя в конвейер. Сопоставляя по маршрутному листу номера деталей мужского пальто, она находит ткань на стеллажах, складывает по номерам и по мере необходимости разносит на рабочее место. Перепутать здесь ничего нельзя. Одна и та же деталь, предназначенная для пальто с другим порядко-

вым номером, может быть немножко иной по оттенку. Отсюда — брак. И еще одна обязанность. Надо вовремя обеспечить бригаду фурнитурой: нитками, пуговицами, тесьмой, чтобы каждая швея имела их под рукой. Мария Васильевна до мелочей выучила каждую из ста операций, необходимых для пошива изделий. Так же досконально известны ей и нормы расхода фурнитуры.

На что же использует она сэкономленные секунды, минуты, часы? На другую работу. Дело в том, что Анибраева — одна из «резерва», в который входят восемь самых опытных работниц. Именно благодаря им, резервным рабочим, цех не страдает от простоев. Но лишь одна из них, Анибраева, постоянно совмещает две операции. При необходимости она садится к свободной машине и выполняет «чужую» работу. Пусть это обтачивание кармана, отделочная строчка, швы рукава... Ей знакома любая деталь, любая машина. И все операции — без малейшего брака.

Очень много у нее учениц, прославленных и совсем юных, которые начинали рабочую биографию, беря пример с наставницы. Изучив приемы ее работы, ученики уже не сомневаются в реальности рекордов. Они оказались простыми и понятными, стали достоянием многих работниц. Опыт моей старшей наставницы внедряется в жизнь.

Нина ДЫРКО,  
ТУ-29, г. Витебск



Но одна из них мне особенно дорога. Каждый день я иду по ней на занятия. И всегда останавливаюсь на минуту у дома, на стене которого мемориальная доска:

«УЛИЦА ИМЕНИ ФЕДОРА ВЛАСИКОВА. В 1944 ГОДУ ПОГИБ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ГОРОДА БУЧАЧ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. ПОСМЕРТНО НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ».

Федор Власиков... Я не могла знать его при жизни. И все-таки встреча состоялась, пусть и через много лет после его смерти...

На полях пышковского колхоза, что недалеко от города, мерно рокотали тракторы. И вдруг под одним из плугов послышался скрежет металла. Колхозники вспомнили, что в этом месте в страшные дни прошедшей войны упал советский истребитель. Начались раскопки. Снят первый слой земли, второй, третий... И вот на глубине 4 метров нашли кабину, искалеченные крылья, мотор.

Наверное, благодаря глине, которая тесно прилегла к кабине самолета, сохранились останки летчика, его документы и вещи. С трепетом и волнением раскрыли пожелтевший от времени комсомольский билет, выданный комитетом ЛКСМУ города Донецка на имя Федора Ивановича Власикова. Билет кандидата в члены партии, письма родным, фотография девушки с длинной светлой косой, записная книжка... Комбинезон, па-

Он всегда стремился к знаниям. Окончил вечернюю школу рабочей молодежи и курсы при аэроклубе, школу военных летчиков. И вдруг в жизнь, мирную, привычную, ворвалась война...

В апреле 1944 года в районе Бучача развернулись ожесточенные бои. Жители сел Подзамочек, Дружба, Пышковцы не раз видели, как над передним краем появлялся краснозвездный самолет. Из пушек и пулеметов летчик расстреливал вражеских солдат, уничтожал боевую технику.

Был апрельский день, день его последнего вылета. На самолет напали пять фашистских истребителей. Но наш летчик смело принял бой, сбил вражеский самолет. Оставалось еще четыре. У Федора кончились боеприпасы, ведь до этого он штурмовал передний край. Умелыми маневрами уходил от фашистских самолетов. И вдруг... С большой высоты, перестав маневрировать, его самолет пошел к земле...

Он был сыном, солдатом Родины. Упал, уронив на землю небо. Но его подняли другие...

...Я люблю наш город Бучач. И всегда останавливаюсь у дома с мемориальной доской, о которой рассказала. Я буду помнить героя Федора Власикова и завтра, и через год, и через пять, когда своей работой стану отвечать за судьбу своего города, своей Родины.

Надежда ВИКТОРУК,  
ССПТУ-6,  
г. Бучач,  
Тернопольская область



«ЕМУ МОЖНО РАССКАЗАТЬ ВСЕ...»

Любимый герой есть у каждого. Им может быть и литературный персонаж, и старший товарищ, и сосед по дому или работе. С него берут пример, на него хотят быть похожими.

Мне хочется быть похожим на моего отца. Какую трудную и честную жизнь он прожил! Все было: и радости и неудачи. Когда началась война, он, как и многие другие, ушел на фронт. Отец никогда не рассказывает, как воевал, трудно ли ему было. Иногда просто скажет: «Как все воевали, так и я». Но я знаю, что воевал он отлично, об этом говорят его награды.

Вернулся отец домой, опираясь на палочку-костылек. Но что самое страшное — он лишился слуха...

Началась мирная жизнь. Наша семья приехала в Усть-Каменогорск, где шло строительство ТЭЦ. На работу отца принять отказались, но он приходил снова, пока не добился своего. И уже через год стал ударником труда, одним из самых лучших рабочих. Конечно, ему было очень трудно в коллективе. Ведь так хотелось поговорить, послушать товарищей по работе. И он учился слушать. Вернее, не слушать, а понимать разговор людей. Приходя домой, сажал на колени мою старшую сестру и, внимательно глядя на ее губы, старался понять, о чем она говорит. Научиться понимать с губ очень трудно, но он добился своего. Посторонние люди ино-

рици. К нему приходят советоваться, рассказывают о своих трудностях, неудачах. И если кому-то трудно, я знаю: он всегда поможет.

Когда я был еще маленьким, он всегда брал меня с собой и на рыбалку, и в цех, и просто погулять. И я с детских лет научился быть откровенным с ним. Ему можно рассказать все. Когда весело — он веселится и радуется вместе с тобой. Но когда у меня какое-нибудь горе или обида, я иду посоветоваться с отцом. Он никогда не откажет в совете и не сошлет на неотложные дела. Он поймет и поможет.

Люди говорят, что у моего отца золотые руки, и ведь это правда. Его огурбевшие, мозолистые руки могут все. Отец хорошо рисует, может быть плотником, каменщиком, металлистом, электриком, а когда дома нет матери, может отлично приготовить обед...

Когда я кончил восьмилетку, то сказал ему, что пойду в ГПТУ. Он знал, что мама против, но сказал: «Если хорошо подумал, то иди». Я понял, что он не только согласен, но и одобряет мой выбор.

Отцу и матери присвоили звание «Ударник IX пятилетки». У нас в семье это не первые награды. Грудь отца украшают знаки «Почетный энергетик», «Ветеран войны», «Почетный донор СССР». По этим знакам можно прочитать всю послевоенную жизнь отца.



гда даже не догадываются, что отец не слышит.

У отца очень много друзей, и как приятно видеть, что люди уважают его. Когда на Иртыше строилась ГЭС, он был в числе передовиков — наладчиков турбин. По его рационализаторским предложениям смонтировано четыре станка, заменивших ручную труд. Но отец не только передовик, он отличный това-

рищ. Когда мне бывает нужно принять какое-то решение, я всегда думаю: а как бы сделал мой отец? Ведь для меня он не только отец, для меня он хороший друг и справедливый судья. Я очень хочу быть похожим на моего отца, настоящего человека и коммуниста!

Андрей ШАУЛЬСКИЙ,  
ГПТУ-8, г. Усть-Каменогорск

ДЕНЬ СТАНОВИТСЯ РАДОСТНЕЙ

Однажды я услышала, как о нашем мастере, Виталии Ивановиче Летове, сказал завуч Г. И. Боков: «Думаете, он только мастерством силен? Есть у нас не хуже мастера. Главное в том, что линия у него в жизни имеется. И всегда она, эта линия, будто под напряжением. С такими светло работается».

Я задумалась над этими словами и будто заново увидела такого знакомого нам Виталия Ивановича.

Когда мастера долго нет, мы скучаем. А когда приходит — и день становится радостней. И для него, наверное, тоже. Если мы в это время напомним ему, что он однажды собирался уходить от нас, он улыбаётся и говорит: «Ну куда я без вас? Что я без вас буду делать?»

Дел у Виталия Ивановича очень много. Трудно ему приходится. Свои выходные дни он зачастую проводит в училище. Это из-за нас. Бывает, доста-

вим ему какую-нибудь неприятность, он только махнет рукой и скажет: «Пропал мой выходной». Слова эти — хуже любого наказания.

В училище задержится до позднего вечера, не забудет с каждым поговорить. А еще он учится заочно в институте, до глубокой ночи сидит над книгами. Удивительно, как все успевает!

В училище, когда он не занят с нами, возится с приборами в своей преподавательской. Там у него всегда народ, всегда что-то делается: гудит электродрель, визжат напильники, ремонтируются приборы. Если сломается радио или прибор, все обращаются к Виталию Ивановичу. Когда мы учились первый год, мастер все делал сам, теперь многое поручает нам. Только подойдет и посмотрит, как идет работа.

Виталий Иванович больше десяти лет работает мастером. Он учился в нашем



СГПТУ, отсюда ушел в армию, здесь вступил в партию.

Был период, когда Виталий Иванович долго и тяжело болел. Никто не надеялся, что он сможет когда-нибудь подняться. Врачи и родные смирились с этой мыслью, но он не упал духом, хотя были такие моменты, когда жизнь казалась ненужной. Но, несмотря ни на что, в упорной борьбе с болезнью Виталий Иванович вышел победителем.

Он у нас строгий. Старается привить нам любовь к нашей профессии, много рассказывает о ней, причащает к бережливости. А если у кого что-нибудь не получается, никогда не раздражается, не повышает голоса. Подойдет, посмотрит, подскажет, что надо. Или сам сядет рядом и будет настраивать прибор, все объясняя, подсказывая.

Однажды в моей жизни случилась очень неприятная история. Можно сказать, решалась моя судьба. Я хотела бросить училище и начать самостоятельную жизнь. Сколько сил потребовалось Виталию Ивановичу, чтобы переубедить меня! Он не поднял на ноги родителей, не было никаких педсоветов, никто из преподавателей ничего не знал. Он вместе с директором и завучем боролся за меня. Не представляю, что было бы сейчас, если бы не Виталий Иванович.

Наш мастер всегда старается увидеть в нас что-то хорошее. Говорили ему о том, что двоих «трудных» ребят надо вызвать на педсовет, отправить в спец-училище. Мастер с этим не согласился. И оказался прав. Когда однажды кто-то «внес предложение» уйти с урока, именно наши «трудные» запротестовали первыми: «А вы подумали о Виталии Ивановиче?»

Иногда к нам приходят бывшие выпускники училища. Часто Виталий Иванович передает нам приветы от знакомых людей, которые учились когда-то в его группе и пишут ему сейчас письма. Недавно заходил солдат: был дома в коротком отпуске. Говорил нам: «Не мог не зайти в училище».

Когда мы первый раз ходили на завод на экскурсию, нас удивило, что нет там уголка, где не знали бы нашего мастера. В каждом цехе есть участок КИП, и на каждом участке Виталий Иванович обязательно скажет: «Вот мой выпускник». И это только на нашем трубном заводе!

...Быстро летит время. Мы уже заканчиваем учебу, скоро попрощаемся с Виталием Ивановичем. Но разве можно забыть такого человека, как наш мастер!

Нина НАУМОВА,  
СГПТУ-47, г. Полевской,  
Свердловская область

ХОЗЯЕВА ЗЕМЛИ

Партийный билет Сафи Утебаев получил в тысяча девятьсот тридцать первом году двадцатилетним студентом Бакинского индустриального института. В заявлении юноша-казах, потомок тех, кто испокон веков кочевал в сухих гурьевских степях, писал, что жизнь его «принадлежит тем великим идеям, ради которых сражались и гибли тысячи пламенных борцов».

Неподалеку от реки Эмбы ударил первый фонтан нефти, и с тех пор жизнь кочевников круто изменилась. Став хозяевами своей земли и ее недр, русские, казахи, азербайджанцы, татары, башкиры должны были иметь собственных специалистов. И Сафи едет учиться.

...Среди ночи молодого директора промысла Утебаева поднял на ноги тре-

вожный звонок. С глубины двухсот метров неожиданно ударила нефть. Нефть заливала буровую. Фонтан выносил из скважины камни, и от удара камня о железо возник пожар. Огонь полыхал пятнадцать суток. Густой дым заволакивал окрестности. Крупные хлопья сажи носились в сыром воздухе.

Решили тушить взрывом. Взрыв разорвал и сбил бушующее пламя. Над промыслом нависла тишина. Сафи снял каску, хотел вытереть пот со лба, но тотчас отдернул руку от обожженного лица.

...Нефтяной фронт вплотную подошел к Мангышлаку. Парафинистая нефть Мангышлака застывала на воздухе. Поэтому скважины должны были закладываться с большой точностью, каждый



промах сказывался на государственном бюджете. Понятна осторожность людей, ответственных за это дело. Но осторожность осторожности рознь. Инженер, возглавлявший до Утебаева объединение «Казахстаннефть», не хотел идти на Мангышлак: далеко. Не хватало техники, останавливала безрезультатность первых разведочных скважин. Поэтому надо было обладать большим мужеством, чтобы взяться за такое дело.

Вскоре был создан трест «Мангышлакнефтьгазразведка». Буровые вышки, подобно разведчикам, прощупывали иссохшую, неласковую землю, забирались все дальше в безводные, знойные пески. Степь, жара, походная жизнь в палатке — через все это прошел Сафи Утебаев. Но он был счастлив. Сбылись его мечты. Это произошло в 1961 году. Ночью возле поселка Жетыбай на шестой буровой ударил первый фронтан нефти. Потом появились нефтяные и газовые месторождения Узень-Тенге, Тасбулат, Карчандыбас, Каражанбас. Помимо нефти, здесь нашли бурый уголь, фосфориты, железную руду. Но Сафи уверен, что полуостров еще не до конца раскрыл свои кладовые.

Когда-то Мангышлак пользовался славой вольного края, где бежавший от хозяев, обиженный, подневольный находил приют и защиту. Степные летописцы сообщали, что население полуострова стало грозной силой для тех, кто, «утвердившись на троне могущества, ступал из круга справедливости», и что всякий раз оно «поднимало знамя мятежа и бунта». Таким было прошлое полуострова. А теперь Мангышлак волей и трудом советских людей, таких, как коммунист Сафи Утебаев, превратился в многоотраслевой промышленный район.

Около автобусной остановки в городе Шевченко возвышается мраморный триугольник с надписью: «7.XI. 1967 г. Вскрыть 7. XI. 2017 г.». Его установили в день пятидесятилетия Советской власти. Там, внутри, хранится летопись сегодняшних свершений и наказ тем, кто вскроет ее в день столетия Великогo Октября. В летопись занесено и имя коммуниста, заслуженного нефтяника Казахской ССР Сафи Утебаева.

Елена ВОЗДРАГАНОВА,  
ГПТУ-194,  
г. Шевченко

### ГЛАВНЫЙ ЭКЗАМЕН

Их было 24 выпускника средней школы города Черепанова. У каждого — планы, мечты, выбор своего пути в жизни. Но аттестаты зрелости они получили за два дня до начала войны... У всего выпуска дорога пролегла через фронт, всем предстояло сдать еще один, самый трудный свой экзамен. И они сдали его с честью. Был среди них и Юлий Третьяков.

...Редко выдается свободная минута у бывшего солдата. Но, несмотря на занятость, коммунист Юлий Константинович Третьяков сделал для себя закон — утром 1 сентября приходиться на школьную линейку и первый урок проводить в своем классе, за своей партией. Отсюда они ушли в сорок первом, вся комсомольская группа вместе с директором школы, старым солдатом и коммунистом.

Все новым и новым поколениям мальчишек и девчонок рассказывает бывший автоматчик двадцать второй Сибирской добровольческой дивизии Юлий Третьяков о своем классе, товарищах. Рассказывает о войне. Он ходит по классу, трогает детские головы, вспоминает... Проходит урок быстро, но запоминается надолго.

В сквере около школы стоит памятник. На сером камне высечены фамилии погибших одноклассников, а внизу, словно подпись — фамилия директора. Вернулись только двое из всего класса.

...В начале войны Юлий сказал родным: «Домой меня скоро не ждите. Вернусь только после победы». Потом стали приходиться солдатские треугольники.

«Жив-здоров. На днях предстоят жаркие бои».

«Был ранен, но не сильно. Все уже прошло...»

«Попал в госпиталь. Я очень изменился. В поезде мне дали больше 30 лет. А мне через четыре дня будет 21».

«Мама, обо мне не беспокойтесь. А насчет того, чтобы я берег себя, что ответить? Если бы я думал только о себе, то вы бы первая меня и осудили».

«У меня большое событие — я подал заявление в партию. Еще на старом месте получил рекомендации. Но после боев у нас в части парторганизации не стало. Убиты и те, кто рекомендовал меня в партию. Я до сих пор ношу эти рекомендации и анкету в кармане».

Он пришел домой весной сорок пятого. Надо было осваивать мирную профессию. И он начал с азов. Солдат Третьяков знал, что не будет у него легкой жизни.

Сельхозинститут закончил с отличием. Ему пророчили славу, ученые степени, рекомендовали в аспирантуру, а он поехал в колхоз. Работал зоотехником, председателем колхоза, секретарем райкома партии. Так и прирос к земле. Родина к боевым орденам и медалям прибавила трудовые.

Сейчас Юлию Константиновичу за пятьдесят. Но он считает, что сделал в жизни еще мало, что он в долгу перед теми, чьи фамилии в алфавитном порядке высечены на сером граните.

Мы — тоже.

Алла АСТАНИНА,  
СГПТУ-59,  
г. Новосибирск



Рисунки Валерия СМЕРНОВА



Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ



За спиной Сергея Крыжановского богатая жизненная биография. После окончания Николаевского судостроительного техникума он много лет проработал на Черноморском судостроительном заводе, был вальцовщиком, инженером, литсотрудником заводской газеты. В 1969 году, закончив Одесский государственный университет, получил специальность преподавателя русского языка и литературы.

Молодой поэт немало повидал, много ездил по стране, он знает жизнь не помаслышке. Все, что увидено, продумано, пережито, вошло в стихи, своеобразные и запоминающиеся. Но много материала еще не освоенного, который ждет своего лирического воплощения.

Пожелаем же Сергею Крыжановскому новых взволнованных строк, новых творческих открытий.

Евгений ВИНОКУРОВ

### Ходовые испытания

Самодельный ты мой швертбот, Положение очень шаткое.

Пару раз еще так швырнет — Закидает белыми шапками.

Не крещенных волной салаг По традиции здесь не жалуют,

И на баках колокола Дразнят нас языками ржавыми.

Под немисланный этот гул, Надорвав нутро лошадиное,

Наш мотор уже затянул: «Пощади, лиман, пощади меня...»

А стихия прет напролом. Ишь, шальная, чего надумала.

Не свершится воля Нептунова — Все равно пройдем!

Хлебнули мы через край, Больше некуда, зря стараться.

В самом деле, наша товарища, Лучше с баржей вон поиграй...

Мне запомнилось, как вошла В берег кошка наша трехлапая,

И вода притихшая капала С полусогнутого весла.



Отпуск. Август. Солнце. Мисхор. Эй вы, волны!

Вот он — я! Нател!

И — в прибой. С разбегу. На спор. Сколько воздуха в легких хватит.

Ух, родимые! А потом, Плавниками руки раскинув,

В жар. В песок. Золотой. Пластом. На живот. И опять на спину.

Просветленно. Глазами — ввысь, Принимая, как хлеб насыщенный,

Раскалившуюся на суше, Зарожденную в море жизнь.

День за днями. Еще. Чуть-чуть.

Всё. Билеты «Аэрофлота». Просьба всем ремни пристегнуть. Облака. Посадка. Работа.

### Прощание с заводом

Последний день...

Когда я распростился

Со всеми, с кем пришлось работать мне. Забрел в пустынный уголочек пирса

Побить с тобой, завод, наедине.

Спецкрепежа заржавленная россыпь

Похрустывала под ногами тут.

Волна ворчала и пыталась сбросить

Вцепившийся в загравок ей мазут.

Ты, как всегда, завод мой, начал рано.

Теперь затих, глаза чуть-чуть прикрыв.

Расслабив мышцы, башенные краны

Обеденный смакуют перерыва.

Не станет память тусклой и короткой.

Вон чайка режет августовский зной,

Вираз, мгновенный всплеск —

И верховодка

Блеснула в остром клюве чешуей.

Тринадцать лет, не мало и не много,

Я был пред этой синевой в долгу,

Пока тропы не выросла в дорогу

На противоположном берегу...

А новый сухогруз великолепен,

Его сдадут досрочно на три дня.

Идет монтаж. И якорные цепи

Испытываться будут без меня.

### Узел

Здравствуй, край мой, родное заречье. Твой вокзал, неказистый на вид,

Что ни встреча с тобой, что ни встреча

Все растрогать меня норовит.

Вот уже тополиные кроны

Проплывают с приветом немым.

И отец, и отец адоля перрона

Семенит за вагоном моим.

Он явился сюда раньше срока

И, успев натревожиться властью,

Как-то боком бежит, как-то боком,

Чтобы к выходу первым попасть.

Дорогой ты мой, неугомонный,

Все в порядке, ну что ты, я здесь.

Эти рельсы и эти вагоны

Гарантируют мягкий приезд.

Прямо с ходу, с подножки, с дороги —

Речь, естественно, не обо мне.

Как вы с матерью живы-здоровы

В стороне от меня, в стороне?

Вам нелегкая выпала доля

Коротать опустевшие дни.

Жили-жили, детей не неволя,

Одинешеньки стали, одни...

Старый дом.

О, семейные узлы!

В глубине материнских очей

Был тугой, неразвязанный узел

Вашей боли, свободы моей.

### Две минуты

Две минуты мне было отмерено,

Ровно две, как любому из нас,

Находясь в трех шагах от Ленина,

Не сводить с него глаз.

Сколько б времени

ли пролетало,

Возвращаясь я сквозь года,

Чтобы снова

пройти мимо тела,

Мимо Ленина

не проходя.



# СИНЕВЫР

## КАРПАТСКАЯ ЛЕГЕНДА

Игорю Флюнту

### Пролог

Не из лодырей,  
Не из проныр—  
Уважительный  
Молодец Выр.

Лишь едва  
Развиделось— топор  
Огласил  
Перестуками двор.

Красно солнце  
Пройдетя тропой—  
Выр торопится  
На водопой:

Гонит, гонит,  
Усталый вконец,  
Непослушных  
И глупых овец.

Гонит, гонит  
Средь мрачных теней  
Отощавших  
Хозяйских коней.

Гонит, гонит  
Средь старых стволов  
Гололобых,  
Упрямых волов.

И деревья  
Тяжелой листвою  
Шелестят  
Над его головой.

### Глава 1

Выру честному  
Роздыха нет:  
Дров подвозит  
И варит обед.

А хозяин,  
Скупец и богач,  
Поторапливает,  
Как палач.

Машет плеткою,  
Мол, не зевай,  
Поживей, молодец,  
Поспевай.

Пот у Выра  
Струится с лица.  
Изнурен—  
Не узнать молодца.

И однажды он  
С сердцем пустым  
Сел урюмо  
Под дубом густым.

И руками  
Коснулся груди  
И подумал:  
«Ну, смерть, приходи!»

Как сестре, тебе  
Искренне рад,

Настрадался,  
Намучился брат!  
Мой хозяин  
Меня не сберег.  
Выр под дубом  
Печально прилег.

### Глава 2

Птицы пискнуть  
Боятся посметь:  
— Выр, кого ожидаете?  
— Смерть!

Смерть хочу  
Добровольно принять,  
И зачем родила  
Меня мать?

Смерть принять  
Добровольно хочу,  
Не мешайте,  
И я замолчу.

Ноги вытянул,  
Очи сожмул...  
Но дубы  
Верховой колыхнул.

И, как будто  
Из пламени вся,  
Возникает,  
Кувшинчик неся.

Золотая  
Девичья краса—  
Выше сделались  
Враз небеса!

Говорит:  
— О мой Выр дорогой,  
Пусть умрет  
Лучше кто-то другой!

Разве смерти  
тебя уступлю?

Я люблю тебя,  
Выр мой! Люблю!

На, глотни  
Из кувшина глоток,  
В мышцах впрямь  
Забурлит кипяток!

Два глотка  
Из кувшина глотнешь—  
Коль захочешь,  
То скалы столкнешь!

Ну, а сделаешь  
Третий, смотри—  
От неравной любви  
Не сгори!..

### Глава 3

Выр попробовал  
Первый глоток,  
В мышцах, ох,  
Забурлил кипяток.

Выр второй  
Потянул, удивясь.  
Чуть подернул плечом,  
Скалы— хрясь!

Выр немедля  
За третий взялся,  
Чудным стоном  
Сыр-бор занялся.

Чудным звоном  
Плеснула трава.  
Улыбается Выр:  
— Ты права!

И берет он  
Ладонку в ладонь...  
...Прочь торопится  
Взмывленный конь.

Прикоснулся  
Губами к губам.—

Вол пустился  
Бродить по дубам.

Грудь ее  
Ощутил молодец—  
И не стало  
Проклятых овец.

Ближе к сердцу  
Направил он взор—  
Ускакал  
По Карпатам топор.

А услышав  
Признание в ответ—  
Позабыл  
Про дрова и обед.

### Глава 4

Так ее  
Целовал, миловал,  
Не заметил,  
Как день миновал...  
Пролетела  
Короткая ночь:  
— Кто ты? Чья ты?  
— Хозяйская дочь!

— Как зовут тебя?  
— Синью зовут!  
— Почему я  
Не знал тебя тут?

Синь, красавица,  
Нежная Синь,  
Умоляю,  
Внезапно не сгинь!

Синь, волшебница,  
Сказка моя!  
— Кто-то движется!  
— Кто здесь?  
— Я! Я!..

И сурово  
Отец произнес:  
— Ты, батрак мой,  
Мне горе принес.

Отвечай же,  
Которую ночь  
Ты ласкаешь  
Хозяйскую дочь?!

Рано утром  
Не твой ли топор  
Прибежал, запыхавшись,  
Во двор?

И занес он  
Топор высоко...  
Кони вздрогнули—  
Там, далеко,

Где жуют,  
Выпярясь из мглы,  
Жвачку сочную  
Сонно волы.

### Эпилог

Стихли птицы.  
И кровь пролилась,  
На лице молодца  
Запеклась.

Синь схватила  
Кувшинчик тогда  
И разбила—  
И вспула вода.

Стала озером  
В дебрях Карпат.  
Грянул грома  
Железный раскат.

И возник  
За буруном бурун  
В громкой музыке  
Ливневых струн.

Синь глядела,  
Глядела вокруг  
И в пучину ту  
Бросилась вдруг.

С той поры  
На девический крик  
Из пучины  
Выходит старик.

И трясет  
Над бедовой водой,  
Словно ветер,  
Шальной бородой.



Рисунок  
Валерия  
КАРАСЕВА



Учитель словесности Елецкой мужской гимназии Варсанюфьев ждал гости. И хотя гость был не столь уж важный — второклассник, подросток лет двенадцати, — учитель не на шутку волновался. Дело было не только в том, что ему, сыну сельского запойного дьячка, трудно давалось общение с «белой костью», заносчивыми барчуками, детьми промотавшихся подстешных помещиков, гордящихся былым величием захудалых родов, но и потому, что он хотел представить на суд этого гимназиста свое новое литературное произведение — рассказ «с направлением» из крестьянской жизни.

Учитель словесности писал давно и упоенно, посылал повести, рассказы, очерки в разные журналы, газеты и альманахи, в том числе столичные, и уже несколько раз сподобился видеть свое имя в печати. Два его рассказа появились в «Русском богатстве» и три-четыре на страницах провинциальных изданий. Это давало известное удовлетворение, а главное — надежду, что он вышестся в настоящего писателя и навсегда порвет с рутинной провинциальной гимназии, где вступает расходуется силы на равнодушных, тупо-насмешливых недорослей. И если начистоту, то надежда преобладала над удовлетворением, которым одарили его немногочисленные публикации. Пуды бумаги и ведра чернил извел трудолюбивый, усидчивый сын дьячка, без счета затупил перья, а результат оставался мизерным. Зато сколько пусто, томительного ожидания, сколько косых улыбок на почте, когда он задавал свой неизменный вопрос: «А мне ничего нет?» Ответы приходили редко, чаще они появлялись на специальной страничке газеты или тонкого журнала — в издательско-грубой форме, словно человек не рассказ или очерк прислал, а тягчайшее перед нравственностью совершил преступление. Наверное, этот лошадиный юмор доставлял удовольствие тем подличникам, которые не пробовали сил в литературе. Из солидных, толстых журналов приходили ответы, порой весьма обстоятельные, случалось, и рукописи назад возвращали. И трудно сказать, что большее было по сердцу: публичное плоское поношение (он печатался под псевдонимом, но от своих, елецких, не скроешься), умелый, дотошный (всегда несправедливый) разнос в письме, возвращение рукописи с убийственной припиской: «Не подходит» — или просто исчезновение ее в редакционных недрах. Последнее дарило сладким и страшным мучительством: он верил, долго и страстно верил, что рукопись понравилась и вот-вот появится, покупал номер за номером ту газету, тот журнал, куда послал свою вещь, и, вдыхая керосиновый запах свежей типографской краски, жадно искал свое имя, не находил, дергал носом, сморкался в большой клетчатый фуляр и начинал снова ждать и надеяться. Кончалось же все небольшим — дня на три-четыре — запоем. Но бывали же, бывали случаи, когда свинцовую безнадежность прорезал яркий луч солнца и вместо насмешек, сухого отказа, молчания он получал свое напечатанное произведение. И тогда отпускало в груди, будто разжимался какой-то внутренний сеп вроде судороги, и прояснившимся взглядом видел он, что его проза достойно соседствует с прозой других авторов, порой весьма известных и чтимых на Руси, и что он, учительшка из захолустного Ельца, ничуть не уступает настоящим литераторам. Все дело в том, что они там, рядом, а он далеко, у них связи, знакомства, репутация, а его бедные творения беззащитны, за ними нет ровным счетом ничего, кроме отпущенного ему природой дарования, подкрепленного редким прилежанием, да верно избранного направления. Будь он поближе к тем местам, где делается литература, он, конечно, давно бы составил себе имя, но для этого надо, чтобы тобой заинтересовались столичные критики, иначе протянешь ноги и в богатом Петербурге и в хлебосольной Москве.

Но замечен и назван в перечне молодых литераторов «с направлением» он был лишь однажды критиком солидного журнала «Наблюдатель». Варсанюфьев высоко ставил эту похвалу, относящуюся к тому, что он почитал главнейшим в литературе, и, наоборот, не понимал, когда в письмах-отказах его обвиняли в недостатке художественности. А что такое художественность? Это когда красиво переживают и красиво разговаривают люди, не ведавшие нужды, и очень много описаний природы. Писарев, властитель дум, самого Пушкина за такую литературу вон как оттрепал, все лучшие читатели и в первую очередь молодежь враз от бывшего кумира отвернулись. Участь Пушкина предостерегала.

Нет, он на верной дороге. Рано или поздно столбовая эта дорога приведет его на Парнас российской словесности, да уж больно долог, неторен и одинок путь! Не с кем поделиться, посоветоваться. Был он тут в городе всем чужой, снимал комнату у богатой, глухой и гугнивой мещанки, вдовы акцизного, друзей, даже просто знакомых не завел. Его коллеги-учителя ничем, кроме водки и карт, не интересовались, ничего не читали да и относились к дьячкову сыну, мучающему себя литературой, глумливо-пренебрежительно. Им, замшелым, тупым обывателям, наплевать было на страдания народа, на вопросы. Он и не пытался их разговорить, растормошить, вовлечь в круг своих интересов, ничего, кроме доноса по начальству, из подобных попыток выйти не могло. А в сапожничестве он не нуждался, привыкнув выпивать в одиночку, карты же в руки не брал.

Не лучше были и ученики. Одни строили из себя аристократов, даже какой-то дворянский клуб учредили, другие им остро завидовали, третьи пребывали в нетревожном младенческом идиотизме, противоречащем крепкой стати и всей рано вызревшей мужественности: темному пушку на верхней губе и по челюсти, ломающемуся голосу, грубым мослам; были и просто тихие, пришибленные мальчишки, так и не пережившие разлуки с теплым родительским гнездом: грязно-ярким пятном выделялись хулиганы из местных, литой купеческой стати; остальные, вовсе лишенные образа, сплывались в бесформенную, тусклую массу. И все эти, такие разные гимназисты, подобно своим наставникам, ничего не читали. Даже удивительно было, что молодое поколение страны, создавшей едва ли не величайшую литературу века, так равнодушно к книгам. Конечно, иные из них абонировались в школьной библиотеке, но привлекало их лишь развлекательное чтение. Классиков не спрашивали, из русских авторов предпочитали графа Салиаса, из иностранных — Габорию. Исключение являл один второклассник, бравший в библиотеке хорошие книги, преимущественно поэтические сборники. Варсанюфьев давно приметил этого ученика, отличавшегося изумительной памятью на стихи — он запоминал стихотворение с первоочтения и несомненным интересом к его предмету. Мальчик слушал внимательно, всегда готов был к ответу, но почему-то никогда не задавал вопросов. Впрочем, это можно отнести на счет его чрезвычайной сдержанности, проявлявшейся и в отношениях с товарищами. В рекреации он всегда держался особняком, не ходил в обнимку с приятелями, не участвовал в драках и тайных конфузливых перешептываниях, его не ловили в уборной в компании куряльщиков. Ничем вроде бы не утвердив себя среди сверстников, он выгадал у них право на обособленность: его не замечивали в молодецкую возню, не задевали, не пытались разыграть или высмеять. Все это разглядел цепким писательским глазом Варсанюфьев, как только угадал в ученике родственную кровь.

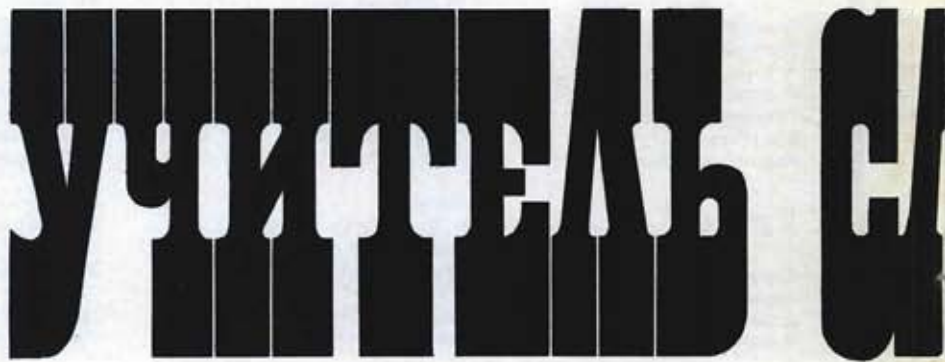
Помог этой угадке случай. Однажды во время урока математики, когда учитель, бойко стуча мелом, писал на доске условия задачи, заглянувший в класс

директор обнаружил, что гимназист на последней парте упоенно читает толстую книгу, к математике явно не относящуюся. Директор ворвался в класс: «Пошел в угол до конца урока!» «Вы не смеете на меня кричать, — поблудив природно смуглым лицом, промолвил ученик. — И потрудитесь говорить мне «вы», я не мальчик». Взбешенный директор схватил с парты книгу (то была «Одиссея»), и оттуда вынул листок с начатыми стихами. Юного поэта едва не исключили из гимназии. Отец примчался с далекого подстешного хутора умалывать разгневанного директора...

Варсанюфьеву понравился поступок ученика, потому что и себя он считал человеком гордым и независимым. Ему было чем гордиться: как-никак сбежал из бурсы, порвал с домом, с церковной средой, без всякой помощи, собственными силами пробился к университетской учености, стал педагогом и литератором. Но сознание себя незаурядной, творческой личностью уживалось в нем с внешней приверженностью, вернее сказать, с робостью, застенчивостью, отчетливым жеждением, чтобы его оставили в покое. Он горбился и, казалось, постоянно что-то выискивал на полу близоруко шурящими глазами, издрагивал, когда к нему обращались. Такой повадкой не завоеешь авторитета. И желчный директор и добродушный инспектор держались с ним небрежно, хотя и ценили как знающего педагога. Но этот тихоня и скромник умел держать класс лучше, нежели иные гимназические тираны. Он ничего и никому не спускал, единицы и двойки так и сыпались с кончика его пера, и тут он действовал столь неуклонно и беспристрастно, что оторопь брала разболтанных, дерзких, но в общем-то добродушных оболтусов. Почти все знали предельно плохо, но послушные ученики вылезали на спасительной троечке, а нарушителей порядка Варсанюфьев резал. И если каждый готов был за дурное поведение на уроке протомиться в углу, отклониться в коридоре, остаться без обеда, то никому не хотелось за пущенного к потолку чертика, игру в перышки, подсказку или другую мелкую провинность расплачиваться матрикюлом. Ведь за этим следовала домашняя казнь, пострашнее всего того, что могут придумать учителя. Варсанюфьева раз и навсегда вычеркнули из числа учителей, с которыми можно «позволить». Конечно, его не любили, но про себя. Варсанюфьев, в свою очередь, не любил гимназистов. Он и вообще не испытывал любви к реальным, из плоти и крови людям. Он любил тех людей, которых создавал на бумаге, но не за них самих, а потому что они представляли несметную рать страдальцев.

Разумеется, Варсанюфьев, зрелый муж и литератор, не мог видеть коллеги в мальчишке, балующемся стишками, но все же оба кадили одному божеству, и это помогло учителю, изнемогавшему без живого, слышащего уха — коли нету в забытом богом Ельце чуткого слышащего сердца, — превозмочь самолюбивую робость, неистребимую бурсацкую неуклюжесть и довольно ловко, в правильном сочетании любезности и взрослой снисходительности, с не лишним юмора намеком на их общее служение музам, пригласить мальчишку к себе на литературное чтение. И стройный, худенький гимназист, от тонкой южной красоты которого тянуло не жаром, а ледком, так гордо и замкнуто было его смугловатое лицо, так отстраняюще твердый взгляд синих глаз, казавшихся черными от зрачков и тени ресниц, согласился неожиданно просто и если без особого восторга, то, несомненно, с пониманием оказанного доверия. Не полагалось гимназистам ходить в гости к учителям, да и зачем, спрашивается, — водку пить, в картишки резаться?..

И сейчас Варсанюфьев нетерпеливо поджидал гостя, которого уже не мог воспринимать как недоросля, школяра, ибо собственным доверием возвел его в ранг то ли наперсника, то ли судьи. В давние бурсацкие годы поверял он по ночам одному другу первые, незрелые стихотворные опыты в жалобном духе поэта-



## Юрий НАГИБИН

прасола Кольцова, но с тех пор утекло много воды, и он окончательно забросил поэзию, в которой ему было тесно, как в одежде, из которой вырос. Свои прозаические произведения он читал вслух самому себе не наслаждения ради, а для критической оценки — на слух лучше ощущалось, что вышло и что не вышло, что нашло выражение в слове и что словом застится. Он читал и правил, и постепенно у него выработался навык неспешного, внятного, в меру выразительного, с ненавязчивой интонацией чтения.

И все-таки он волновался. В его жизнь вступало нечто новое, призванное им самим, но последнее не обеспечивало безопасности: чем еще обернется эта попытка нарушить тишину добровольного да и вынужденного одиночества? И как обходиться с этим баричем, хотя и не вступившим по младости лет в дворянский гимназический клуб, но тающим в темных глазах, замкнутым лице и горделивом поставе небольшой красивой головы сословную спесь, хоть и без вульгарности иных его одноклассников? В стенах гимназии они твердо поставлены друг в отношении друга: учитель и ученик. Здесь это не годится. Хозяин и гость? Но куда девать разницу лет? Не может же он обихаживать мальчишку, как человека, равного ему годами и образованием. Отнестись как к ребенку? Но от ребенка не ждут суда. Видеть в нем младшего собрата по литературному делу? Больно много чести юному бумагомарателю. Благо бы еще в прозе себя пробовал, это что-то говорит о глубине натуры, а стихи, если они не в обличительном роде, под стать детскому греху — знак возрастной неопытности, мимолетной с наступлением зрелости.

Может, вообще он все это зря затеял? Только слухи неблагоприятные пойдут. Что, если сказать больным и отпустить гимназиста подобра-поздорову? Он



# ДОВОДНОСТИ

РАССКАЗ

поглядел на аккуратно застеленную постель и едва подавил желание юркнуть под серое байковое одеяло. Вздохнув, он продолжал вытирать кухонным полотенцем блюдца и чашки — хотел угостить гимназиста чаем с бубликами, для чего хозяйской прислуге, старой Федосьевне, был заказан самовар. Он прибрал и проветрил комнату, сменил скатерть, почистил висячую керосиновую лампу, вынес пустые бутылки и упаковочную бумагу и сам поразился, до чего же уютным и пригожим стало его холостяцкое логово: чистота, порядок, удобная мягкая мебель, герани на подоконниках, нестыдные литографии на стенах. Вот уже оказалась польза от его опрометчивого поступка.

Он только покончил с хозяйственными хлопотами, вознаградив себя за усердие рюмочкой очищенной, когда минута в минуту явился гимназист.

Пока он раздевался в прихожей, освобождаясь от длиннополой холодной шинели, картузика с серебряным значком на околыше, башлыка и калош, Варсановьев приплясывал вокруг него, раздраемый противоположными стремлениями. Хотелось помочь замерзшему мальчонке — февраль после нескольких синих оттепельных дней повернул на жгучий мороз, — но боялся уронить свое достоинство и потому предоставил одеревеневшим пальцам гостя самим справляться с пуговицами и крючочками. Варсановьев делал много лишних, незавершенных движений и смущенно бормотал:

— Вот так!.. Молодцом!.. Сюда, пожалуйста!.. Давайте вместе... Сами справитесь?.. Ну, и отлично, Ванечка. Вы разрешите, я вас буду Ванечкой называть, в домашней, разумеется, обстановке?

И отчужденно с замерзших, плохо размыкающихся губ слетело:

— Сделайте одолжение.

Узкое лицо пылало сквозь смуглоту, ресницы были влажными от стаивающего инея. Он весь как-то сжался, съезжился от мороза и в своей тесной гимназической курточке, с темными примятыми фуражкой волосами, торчащими ушами казался совсем мальчишкой, и учителя поразило, как мог он придавать столько значения его приходу и его мнению.

— Проходите, Ванечка, — сказал он покровительственно. — Здесь тепло, вы скоро согреетесь.

Гимназист прошел в комнату и опустился на указанный ему стул. Он зажал ладони в коленях, а взгляд его, как всегда с мороза, с белизны, чуть подслепший, смеркший, с цепким любопытством забегал по комнате, не пропуская ничего. Варсановьев обнаружил с удовольствием, что этот пристальный и не совсем приличный осмотр мало его трогает, и не потому даже, что он такого уж высокого мнения о своем быте, а потому, что правильно определил себя в отношении мальчика. Наверное, следовало бы прямо сейчас напоить гостя горячим чаем, но Варсановьев спокойно рассудил: от горячего да сытного его сразу развезет, в сон потянет, и какой тогда из него слушатель. Пусть лучше так переможется, всему свой черед.

Учитель положил на стол рукопись, и вернулось избытое вроде бы волнение. Пришлось заглянуть за ситцевую занавеску, где в крошечном чуланчике хранились различные припасы и стояла початая бутылка портвейна, настоящего «Порто», и бокальчик. Он осторожно, чтобы гость не услышал, наполнил бокальчик и маленькими, неслышными глотками осушил. Утерев губы и усы, он с озабоченным видом вернулся к столу.

— Не знаю, насколько вы в курсе текущей литературы, попадают ли вам петербургские и московские журналы, посему не ведаю, доводилось ли вам читать и мои скромные произведения. — Внушительно произнес эту ловко составленную фразу, учитель окончательно успокоился — долгожданное чувство превосходства хорошо расширило грудь.

Гость сказал, что столичные журналы попадают ему крайне редко, и он не может считать себя в курсе современной литературы, но что-то Глеба Успенского и Златовратского читал — скучно, особенно у второго. Варсановьеву такое заявление — обухом по темени.

— Господь с вами, Ванечка!.. Это же властители дум!

— Не моих, — обронил тот.

— Да ведь они о главном пишут. О самой сути. Все остальное — развлечение, мишура, висюльки на люстре — звенят, сверкают, играют, но горят-то свечи, не стекляшки. Ладно, спорить до ночи можно. Давайте лучше читать. — Он прочистил горло и начал: — «Климка Хударев и урядник»... «Сия непридуманная история случилась прошлой весной в деревеньке Сухотиновке Н-ского уезда, Орловской губернии. Стоя на богатейших землях черноземной полосы, обильных почвенным туком, деревенька бедствовала...»

Читая, Варсановьев слышал себя будто со стороны и радостно удивлялся, как крепко и ясно ложатся у него слова, потребные для выражения той или иной мысли. Не было ничего лишнего, пустого, служащего для украшения прозаической речи: если пейзаж, так в меру (сельские грамотеи не читают Тургенева, потому что тот слишком много о природе пишет, а Варсановьеву хотелось, чтобы его произведения дошли до этого нового читателя, недавно

появившегося на Руси); если прямая речь, то истинно крестьянская, но без тех идиотизмов и вывертов, или вовсе никому не понятных, или понятных лишь уроженцам данной местности, чем так злоупотребляют писатели из народа. И главное — верность жизненной правде, направление. Да и трогало, прямо за душу хватало, а когда урядник швырнул обильно оговоренного Клина в холодную, Варсанофьев, чтобы скрыть слезы, кинулся за ситцевую занавеску и принял дозу успокоительного.

Возвратившись, он удивился странному, отрешенно-сосредоточенному выражению лица гостя. Тот будто в нетях пребывал, недоступный звукам земных голосов.

— Вы не слушали, Ванечка? — В тоне учителя не было укоризны, одно лишь огорчение. — Вам скучно?

— Я все слышал, Орест Михайлович, — отозвался тот, не меняя выражения лица. — Последняя фраза: «Он упал на холодный пол и забился в неизбывной тоске».

— Это многие гимназисты умеют, из тех, что спят на уроках, — повторить последнюю фразу учителя.

Отсутствующее выражение сбежало с лица мальчика, взгляд собрался.

— Орест Михайлович, проза не стихи, ее дословно не запомнишь, но спросите меня с любого места, я продолжу очень близко к вашему тексту.

И учитель почему-то сразу поверил, что так оно и есть.

— Простите, Ванечка, вид у вас какой-то...

— А-а!... Крысы...

— Что-о? — не понял учитель.

— Под полом. Вон там в углу, где кровать.

Учитель прислушался и ничего не услышал.

— Зря вы им в замазку стекло подмешиваете, — сказал Ванечка. — Крысиный

желудок сильный, толченое стекло запросто переварит.

— Откуда такие познания? — высокомерно спросил Варсанофьев, которому

представилось, что заскучавший барчук хочет его уязвить.

— А у нас на хуторе полно крыс, — просто ответил тот.

— Я не замазывал крысиных дыр, — сказал учитель. — И даже не знал, что есть

такая замазка со стеклом.

— А чего же так хрустит? — удивился Ванечка.

Варсанофьев вдруг вскочил и выбежал из комнаты. Возвратившись, заглянул в

«утешительную» и сел к столу.

— Хозяйкина прислуга замазывала, — буркнул он.

— Ей бы алмаз растолочь, тогда поможет! — с мальчишеской улыбкой сказал

Ванечка, и чувствовалось, что подтверждение его правоты не доставило ему ни

торжества, ни радости.

— Может, вернемся к чтению? — предложил Варсанофьев, на которого препи-

рательство из-за крыс произвело какое-то сложное и неприятное впечатление.

— О, конечно! — сказал Ванечка, сразу становясь серьезным.

Варсанофьев начал читать, и вскоре несколько сбитый голос его вновь обрел

глубину и сдержанную выразительность. Как все-таки полезно читать вслух свое

произведение другому человеку, пусть и глуховатому к твоей боли, твоим думам.

Нет лучше проверки, каждое неверное слово, как поддельная монета на звон,

сразу себя обнаруживает. И Варсанофьев с крепнущим чувством гордости

убеждался, что нет у него таких фальшивых и ложных слов. Повествование о

горестной и типичной судьбе бесчастного Клина естественно, как поток,

стремилось к его самоистреблению. Повесился в острого горемыка. И вот уже его

худое тело закачалось на сопревшей мочальной веревке.

— Нет! — вдруг громко сказал слушатель. — На мочальной веревке да еще

спрелой не повешешь.

— В литературе почти всегда вешаются на мочальной веревке, — возразил

учитель.

— В литературе, а не в жизни. Я понимаю, так жалостнее. Но веревка или

порвется, или развяжется.

— А вы откуда, собственно, это знаете? — ядовито спросил Варсанофьев. — Не

ужто пробовали?

— Не доводилось, — последовал ледяной ответ. — И вам не советую, если хотите

навверняка. А вот девушка у нас одна пробовала. Только горло ободрала.

— Довели? — спросил вконец обозлившийся Варсанофьев.

— Повесла от кучера. А он женатый.

— Бог с ней... В конце концов Клим мог повеситься и на пеньковой веревке.

— Откуда в острого веревка? По ней из окна спуститься можно. Бежать.

— Разве это так важно? Рассказ ведь не о том. Замучили человека — он и руки

на себя наложил. А все эти мелочи, кому они нужны?

— Ну как же?... чуть растерянно сказал Ванечка. — Нужны, однако... Иначе

ничему веры не будет.

— Так на чем же ему вешаться, черт бы его взял! — вскричал раздосадованный

Варсанофьев.

— Говорят, и на рукаве повеситься можно...

— Ладно! — Варсанофьев вскочил и кинулся за занавеску: нужно было

успокоить расхопившиеся нервы.

— Орест Михайлович, — услышался неожиданно мягкий голос Ванеч-

ки. — Пили бы здесь. Там вам, поди, невкусно. Да и облить можно.

И как в воду глянул — дрогнула рука Варсанофьева, держащая бокальчик, и

посадила рубиновую каплю на белую рубашку. Подглядывает? Издевается?..

Варсанофьев задохнулся от гнева. Он выглянул наружу и увидел темный

затылок со стрелочкой заходящего с виска косога пробора, очень прямую,

худенькую спину, хрупкие плечи. Ванечка и не думал оборачиваться, следить за

учителем.

— Мой хозяин Бякин, у которого я на хлебах, — говорил мальчик, — раньше

тоже кулеминское «Порто» пил, а потом перестал. В него, говорит, жженую

пробку подмешивают для вкуса и цвета. И оттого изжога, отрыжка. Он теперь у

Разуваева в лавке «Крымское» берет. На пятиалтынный дорожке, но без

последствий.

Ванечка по-прежнему не оборачивался и смотрел прямо перед собой. «Что он

там еще увидел? — с тоской подумал учитель. — Паука на нитке, клопа на стене

или блоху на подушке? Что он еще высмотрел, вынюхал, выслушал в моем

бедном доме?»

Варсанофьев вернулся к столу.

— Вы, разумеется, понимаете, что я не могу предложить вам вина, поэтому и

предпочел делать это келейно.

«И с чего вдруг сунулось на язык семинарское слово «келейно»? — с

раздражением подумал Варсанофьев и нервными движениями стал скручивать

папироску.

— Орест Михайлович, закурите Жукова табаку. Какой прекрасный запах!

Отец всегда Жуков табак курит. И совсем как у вас приготовленный — с

перетертыми корешками сон-травы, с мятой и медком. Вам его, наверное, из

деревни присылают? В городе такого табаку не найти.

— Да уж... — самодовольно начал Варсанофьев, польщенный тем, что курит

один табак с Ванечкиным отцом, известным своими старобарскими замашка-

ми. — Постойте, — спохватился он вдруг, — а вы откуда знаете про Жуков табак? Я

в гимназии никогда не курю.

— Так ведь пахнет, — пояснил Ванечка.

«Ан врешь! — обрадовался чему-то Варсанофьев. — Вот и попался, который

кусался! Я последний табачок на той неделе скурил и даже упаковку выбросил. А

после Федосьевна клопов керосином морила. Не может тебе Жуковым табаком

пахнуть да еще с приправами. Ловок больно! Велика хитрость: выгнать все про

человека, а после мага-чародея из себя строить!»

— Нет, Ванечка, не пахнет у меня Жуковым табаком. Давно весь искурил.

— Да что вы, Орест Михайлович! — Ванечка чуть конфузливо улыбался: он не

понимал игры взрослого человека, вздумавшего невесть зачем запереться в

таком пустом деле. — Он же под кроватью...

Не спуская с Ванечки пытливого взгляда, Варсанофьев прошел к кровати,

нагнулся, сунул туда руку, пошарил и вытащил картуз, на четверть полный

Жуковым табаком.

— Как же я забыл о нем?... — подавленно проговорил учитель и с некоторым

испугом глянул на странного гостя.

— Можно, я вам скручу? — попросил Ванечка.

— Мне, право, неловко...

— Приятное ощущение, когда крутишь, — сказал Ванечка, исключив тем

самым любезность из своего предложения, и посучил пальцами.

— Не балуетесь? — поинтересовался Варсанофьев.

— Пока нет.

Этот мальчик удивительно быстро, без задержки менял доверительный

мальчишеский тон на холодно-отстраняющий. Он придирчиво следил за тем,

чтобы собеседник не переступил какой-то черты. А собственное поведение он так

же внимательно наблюдает? Его замечания по поводу крыс, портвейна и даже

табака можно ли считать вполне уместными? Конечно, в них не было желания

задеть, подкопнуть, этот барчук не избалован и совсем просто относится ко

всему житейскому. Видать, не больно роскошествовал в своей Неурожайке или

как там их вотчину. И все-таки чуть приметные одергивания Варсанофьев

ощущал то и дело: в смене тона, взмахе ресниц, румянце, каких-то легких тенях,

проскальзывающих по смуглому лицу. Это раздражало, хотя придаться было

не к чему.

— Спасибо, — сказал он, принимая ловко скрученную папироску. — Давайте

дочитаем. Осталось совсем немного.

А сам мучительно соображал: нет ли на облитых желчью последних страницах

какой-нибудь еще «мочальной веревки», которую только и заметит въедливый и

хладнодушный слушатель. Вроде там все в порядке, а впрочем, кто знает. Теперь

он ни в чем не уверен. Но ведь если каждую малость в микроскоп рассматривать,

не останется времени и сил для главного. И чуть-чуть торопливо, дабы не

сосредоточившись внимание на второстепенных подробностях, Варсанофьев

дочитал рассказ, и хоть настроение было сломано, почувствовал его горестную

силу. Но, страшась молчания, сразу вскочил и кинулся в кухню распорядиться

насчет самовара.

Маленькая перебжка и легкая перебранка с Федосьевной помогли ему

собраться. Возвратившись назад, он спросил почти весело: «Ну, как?» — и разорвал

мочальную веревку, на которую были наизаны золотистые бублики.

— Хорошо... Не хуже, чем у Златовратского, — улыбнулся Ванечка.

Его улыбка ничуть не задела Варсанофьева, а слова обрадовали. Пусть этот

недоросль не понимает и не любит Златовратского, тот все равно остается одним

из светочей современной русской литературы. А коли у него, Варсанофьева, не

хуже, по мнению этого маленького эстета, то чего же еще желать? Он не мог

сделать ему большего комплимента, и несколько минут Варсанофьев не

испытывал ничего, кроме тихого блаженства. Мягкие, теплые волны ходили

внутри него, плавно и нежно перекачиваясь через сердце.

Отчего писатели так устроены, что им непременно хочется нравиться всем и

каждому? Нет того, чтоб удовлетвориться признанием своих единомыслителей

и единомышленников, хочется любви, ну, вот столечко, и от тех, кто их любить не

может. Более того, именно от чужих и чуждых, даже враждебных, томительно хочется

хоть крошечного признания, хоть оговорки ласковой. Варсанофьев давно

заподозрил, а сейчас подозрение перешло в твердую уверенность, что Ванечка,

верно, и сам того не сознавая, принадлежит к недружественному лагерю. К тому,

где любят чистое искусство, — в рот им дышло! — кадят Фету и Полонскому и в

грош не ставят «направление». Он уже получил подарок, но не желал им

ограничиваться. Надо было подвести мальчишку к новым похвалам. И самый

лучший способ — это поговорить о частных недостатках, пусть еще за какую-

нибудь мочальную веревку подергает, а затем отдаст должное глубине и

значительности целого.

— Ну, что я еще наврал? — спросил он с подкупающим добродушием.

Мальчик вскинул на него совсем черные в наступивших сумерках глаза. Он

словно колебался: стоит ли говорить или лучше отделаться общими словами.

Варсанофьев не прерывал затнувшегося молчания. Вдохнув, мальчик сказал:

— Там у вас весенний ландшафт описан... и сказано: горький запах. Какой же он

горький? Это вкус у ландыша горький, если его бубенчик разжевать. У раннего

ландыша запах кислотный, влажный, водянистый, свежий-свежий!..

— Постойте, Ванечка! — засмеялся Варсанофьев. — Как это запах может быть

влажным и еще водянистым?

— Не знаю... — Что-то растерянное появилось в лице мальчика. — Может... — И

тихо, но твердо он сказал: — Да, кислотный, влажный, водянистый, свежий.

— Да ведь это тавтология: влажный и водянистый, — посмеивался Варсанофьев.

— Какая тавтология?

— Вы еще не проходили. Повторение. Точнее, определение, повторяющее в

иной форме ранее сказанное.

— Так вот же — в иной форме! — обрадовался мальчик.

— Разошлись, Ванечка, разошлись!.. Ну, что еще?

— Еще?.. Помните, мужики-порубщики дерево валает? Урядник видит, как

ствол зашатался.

— И что?

— А ствол не шатается. Дерево верхом падает. Вы глядите на него, а оно вдруг

как двинется вперед верхушкой. Грозно, страшно! — Он передернул плечами.

Варсанофьев вскинул брови и ничего не сказал, похоже, до него просто не

дошло. Мальчик опять вздохнул.

— У вас Клим только умер, а глаза у него запавшие и веки белые.

— Все так.

— Нет, вначале глаза у покойника выпуклые, веки лилово-смуглые, темнее остального лица.

— Ну, это, братец...— учитель вовремя поправился, — братец вы мой Ванечка, фантазия! Покойник покойнику рознь. У одного так, у другого иначе.

— Да нет же! — упрямо сказал мальчик. — Глаза не сразу западают, и веки темные. Еще там сказано, что головка у ласточки черная. А она сине-черная. И расквашенный дождями чернозем синий, а не угольно-черный.

— Это, Ванечка, вам все синит! На то и чернозем, чтоб черным быть, иначе бы сиземом назывался.

— Орест Михайлович, вы, правда, не видите, что черноземная грязь иссиня-черная?— И словно бы жалостливое удивление пробилось в его голосе.

— Нельзя видеть то, чего нет, — сухо сказал учитель. — Придумки, Ванечка, игра ума.

Федосьевна внесла ключом кипящий самовар. Поставила на поднос, да неловко — из-под неплотной крышки плеснуло крутым кипятком и чуть не обварило руку учителю, хотевшему помочь старушке.

— Экая неловкая! — сказал он в сердцах. — Вот уж верно: до старости дожила, а ума не нажила.

Ворча, Федосьевна удулилась.

— Зря вы ее так, Орест Михайлович, — морщась, сказал Ванечка. — Она же почти слепая.

— Слепая?!

— У нее левый зрачок будто белком испачкан, а правый вовсе запылил.

Варсановичу вспомнились многочисленные и почти необъяснимые неловкости и промахи старой Федосьевны, за что ее ругательски ругала хозяйка, грозя уволить, и понял с покорной грустью, что маленький страшноватый наблюдатель опять прав. И сразу перекинулся мосток: небось, и у ласточки головка черно-синяя, и синее жирная черноземная грязь, и подрубленное дерево макушкой валится. И если с такой вот позиции пересмотреть его рассказ, то что от него останется?.. В комнате совсем померкло. Учитель зажег лампу, и прозрачная лиловость за окнами сразу сменилась тьмой. Он налил Ванечке чай, подвинул сахар, тарелку с бубликами.

— Угощайтесь.

Тот погрел ладони о горячий стакан, насыпал сахару, размешал, попробовал, разломил бублик, понюхал свежее тесто, и все это с таким вкусом и смаком, что зависть брала. Материальный мир был ему желанен во всех проявлениях, воздействующих на пять человеческих чувств, и, несомненно, он получал о нем больше сведений, чем другой человек, но ведь это не главное, это низменное, и беден тот, кто лишь чувственно воспринимает действительность. Варсанович в таком духе и высказался, но мальчишка никак на это рассуждение не отозвался. Теперь пришел его черед не понимать собеседника. И, уже злясь, учитель спросил:

— А вам от товарищей не попадало?

— За что?

— Больно вы приметливы, Ванечка. Товарищи не считают, что вы задаетесь?

— Не знаю. Меня это не интересует.

— Побить могут, — с надеждой сказал учитель.

— Пусть только попробуют! — Темные глаза по-волчьи сверкнули. — Столбового дворянина тронуть? Не советую.

Полезла, полезла сословная спесь! Как это у Щербини? «И предки ваши тем знатнее, чем больше съели батогов». Что-то в этом роде. Но оставим цитату при себе. Он и так волчком глядит. Подумаешь, столбовые!.. Дворяне от столба. Но все эти сарказмы Варсанович сохранил в душе, а вслух сказал:

— А я ведь просто так... Вы же понимаете, что такое побои для бывшего бурсака? Барабанной шкуре столько палочных ударов за всю службу не достается, сколько бурсаку за один удачный месяц.

Ванечка рассмеялся — сравнение понравилось, и вернулась доверчивая интонация.

— Отец раз хотел мне уши надрать. Мы с ним стояли весной на крыльце, вдруг слышу — сурки свистят. Отец посмотрел искоса: ты что же, сурка за версту слышишь? Конечно. Врешь, негодий! Не можешь ты слышать. И суркам рано еще свистеть. Нет, говорю, свистят. Он крикнул, чтоб подали коня. Вскочил в седло. Если наврал, уши оборву. И ускакал. Вернулся тихий, смущенный. Прости, сын, вышли сурки из нор, играют, свистят.

— Занятно, — сказал Варсанович. — А все-таки одно такое чувственное восприятие жизни писателя не сделает, нет, не сделает.

— А я и не собираюсь в писатели, — удивленно сказал Ванечка.

«И слава богу!» — подумал Варсанович. — Не то, поди, все литературное дело зашатается».

— Но вы же пишете стихи. Может, почитаете?

Мальчик несколько раз отрицательно мотнул головой и низко наклонился к стакану.

— Не настаиваю... Наверное, это правильно, что вы не помышляете о литературной карьере. Писать ради того, чтобы писать, — пустое занятие. Важно, для чего ты пишешь. Вы сказали о моем рассказе: хорошо. Но ведь вы не полюбили моего Клина, его судьба вам безразлична?

Ванечка не ответил. Он макал бублик в чай и с наслаждением откусывал размоchenный кончик.

— Ведь не полюбили? — настаивал Варсанович. — Скажите прямо, я не обижусь.

Мальчик молча кивнул.

— А почему? — обиженно спросил автор.

— Какой-то он... общий...

— В том-то и штука! — вскричал Варсанович. — Это обобщенный Клим. Тип современной жизни. Литература должна создавать типы и через них решать задачи, выдвинутые временем.

— Но я не понимаю этого! — сказал мальчик с досадой. — У нас есть на хуторе Клим, его я люблю. Он сутулый, волосатый, добрый, от него вкусно пахнет: хлебом, луком, квасом. И руки у него большие, теплые, шершавые. Он меня на лошадь сажал, на меринка Копчика. А про этого вашего Клина я ничего не знаю. Мне его вовсе не жалко, хоть он такой разнесчастный. Мало ли несчастных на свете! И чего урядник так над ним зверствует? У нас тоже есть урядник, у него жена чахоткой больна и дочь старая дева.

— Не то, не то, Ванечка! Какое дело литературе до вашего урядника с его чахоточной женой? Нужен обобщенный образ...

И Варсанович пустился в пространные рассуждения, излагая свой символ литературной и жизненной веры, но все, что он не раз упоенно проговаривал в себе, как-то странно обесценивалось присутствием этого мальчика, и учителю самому стало скучно. «А у ландыша запах кисловатый, влажный, водянистый, свежий», — вспомнил он, и в груди сжалось.

— Хотите, я вам одну умную книжечку дам, там все изложено. Только, Ванечка, никому ни-ни!..

Мальчик кивнул и вытер рот ладошкой.

«Я, кажется, забыл салфетки, — спохватился Варсанович. — Ну, и черт с ними!» Он достал с полки зачитанный пухлый том в подклеенном переплете и положил на стол.

Ванечка почти сразу стал прощаться. Варсанович его не удерживал. Он уже понимал, что задуманное не получилось. Хуже — получилось что-то совсем другое, вовсе ему не нужное и даже вредное. Рассказ вроде бы и не разруган, а сомнения в своих силах нависло. И не поймешь, почему. Плкнуть и забыть! Чепуха все это, или, как говорил благочинный их сельской попавки: «епуха» — это распоследняя чепуха, чепуховее и быть не может. «Епуха!» — повторил он про себя, скидывая чары. — Я на верном пути. Усердие, труд, вера в свою правоту — и я буду в Петербурге, меня признает критика и вся читающая Русь. А эта богова нелепица с нюхом собаки, слухом соловья и зрением ястреба заложит в елочку глуши, проеая и пропывая остатки промотанного отпым и пописывая стишки в альбомы провинциальным барышням. Врет он, что не думает о литературном поприще. Думает, небось. Только пустое это, коли нет направления. Отыграла, отзвенела, отверкала дворянская Русь, другие времена, другие люди, другие песни. А ну, расступилась, дай дорогу, дячкова сын Варсанович грядет!.. — Вот так всегда действовало на него кулеминское «Порто», принятое на очищенную: к воинственному воспарению подымало дух. — Надо взять себя в руки, а то впрямь невесту чего нагородить».

Полутьма прихожей не помешала гостю сразу найти свою шинель, картузик, башлык и калоши. Он быстро и ловко оделся, вежливо поблагодарил хозяина за духовные и телесные удовольствия и откланялся. Варсанович выскочил следом за ним на крыльцо и оказался в огромной звездной, звенящей морозом ночи.

— Эх же играют серебром ночные светила! — воскликнул он, подивившись красоте ночного неба.

Прямо перед ними над черными крышами зареченских лачуг лучилась переливчато яркая ограненная звезда.

— Смотрите, Ванечка, какая звезда! Прямо-таки чудо вифлеемское!.. Давайте высчитаем, что это за диво дивное...

— А чего высчитывать? — несколько удивленный этим витийством, сказал мальчик. — Сириус... Любимая звезда моей матери.

Он ушел, а Варсанович кисло подумал, что в каком-то смысле этот барчук, белоручка, не больно преуспевающий в науках гимназистик, знает о мире больше, нежели он, педагог и литератор. «И на здоровье!» — решил Варсанович и, просквозивший стьяны, поспешил вернуться в комнаты. На столе лежала забытая Ванечкой умная книга...

На другой день Варсанович чувствовал себя прескверно. Он плохо спал, его мучила изжога, и даже не от кулеминского «Порто», в которое, по любезному сообщению всезнающего Ванечки, подмешивается для вкуса и цвета жженая пробка, а от всего неудавшегося вечера. То была не желудочная, а сердечная, душевная изжога, которую ничем не погасишь.

В узком лоснящемся на локтях и спине фраке он вошел в класс, пряча глаза и горбясь, неловко кивнул в ответ на шумное и нестройное приветствие учеников и поднялся на возвышение. Боясь, что класс догадается о его состоянии, он произнес переключку, не подымая головы от журнала и сцепив домиком над бровями бледные, чуть дрожжащие пальцы. А закончив переключку, не переменил позы, показав тем самым, что будет спрашивать. Этим он сразу пробудил в классе страх и уменьшил ту коллективную наблюдательность, какой отличаются разболтанные, рассеянные подростки, когда они вместе и зрение их словно суммируется. Но едва ли уменьшил проклятую наблюдательность одного, видевшего, слышащего, чуящего неизмеримо больше, чем три десятка наивных и простодушных оболтусов.

Дурное, мстительное чувство, слившись с нутряным жжением, завладело учителем. Литература, несомненно, исказила личность Варсановича, человека по природе бесхитростного и доброго. Сквозь решетку пальцев он углядел своего учителя на обычном месте, у стены. Ленивый и неусердный, Ванечка все же не числился в худших учениках и утвердился на «Камчатке» добровольно, дабы читать без помех постороннюю литературу: Фета, небось, и Полонского!.. А ведь уверен, наглец, что его не вызовут отвечать урок, который он, конечно, не приготовил. Да и когда ему готовиться было? Домой вернулся поздно, и уж, верно, не стал корпеть над уроками любящий поспать барчук — усадебная привычка, обломовщина! — только поплескал себе на лицо и шею холодной водой из рукотомойника с медным носиком, утерся пахнущим цветочным мылом полотенцем и — в постель, в бездонную сладкую глубину отроческого сна. «Что это со мной?» — встревожился Варсанович. — Почему я стал так подробно думать? Уж не мальчишка ли наслал на меня заразу бесцельной возни с малостями жизни? Чур меня, чур!..»

Варсанович еще раз украдкой взглянул на Ванечку и увидел, как дрогнуло и напряглось тонкое, большеглазое лицо. Румянец густо налил ореховую смуглоту щек и лба и зардел на острых скулах. «Ага, не выучил стихотворения Никитина!» — злобно подумал Варсанович и тут же спохватился. — Постой, постой! А почему он знает, что я его вызову? Не должно такое ребенку в голову впасть. Это же низко — вызывать после вчерашнего. Выходит, он меня в неблагоприятном поступке подозревает? С какой, спрашивается, стати, разве дал я ему хоть малейший повод?.. Положим, и промелькнула у меня такая мыслишка, как мог он догадаться? Я не смотрел в его сторону, всего раз, может, глянул из-под руки. Да ведь ему и того достаточно. Небось, и легкую испарину на лбу углядел, мне, правда, лоб слегка увлажнило, когда я понял, что он урока не приготовил. А может, своим собачьим нюхом ножной запах учуял — подмокают у меня от волнения пальцы ног. Или я чем другим себя выдал: откашлянул, дыхание перевел, желудком екнул, от него разве что укроется? Ему бы в следователи пойти — ценз б не было! Фу ты, черт, будто голый стоишь! Неужто можно так читать окружающее?.. Тогда это больше, чем внешнее восприятие, — сказал он себе с грустью, — это постижение».

А Ванечка уже начал помаленьку высвобождаться из-за парты: ногу левую подтянул и согнул в колене, а правую в проход поставил для упора, чтобы сразу встать, как только его вызовут. Пальцами по пуговицам забегал, плечами поводит, разминается...

«Вот возьму и не вызову, наблюдательный господчик! Тем более хоть вы и не готовились, а стихотворение Никитина отбарабаните за мое поживанье! А мы и не попросим вас стихов читать, мы вас о направлении никитинской поэзии попытаем, мы вас насчет обобщенного Клина процокачем». И, опережая последнее движение гимназиста, почти вылезшего из-за парты, Варсанович торопливо, каким-то враз просевшим голосом вызвал:

— Бунин Иван!..

СТЫКОВКА ПЛЕТЕЙ ДЮКЕРА.



# «МОСТ» ПОД РЕКОЙ

Георгий БАЖЕНОВ  
Фото Альберта ЛЕХМУСА  
Специальные корреспонденты «Смены»

**В**имар взмахнул флагом. Трехсотметровая труба — четыреста тонн весу, — дрогнув, приподнялась над землей. Нещадный рев катерпиллеров и трубоукладчиков штопором вонзился в пространство. Дрожал утренний голубой воздух, летел из-под гусениц золотисто-желтый крупитчатый песок, обезумевший от рева и грохота пес Калина беззлобно обливал зависшую трубу-плеть, эхом откликалась водная стихия Ваха — плыла по его поверхности гулкая песнь работы. Вся техника и люди, казалось, слились в едином напряжении, и только Владимир





Римар недовольно играл желваками, и до синевы накалился на его суровом лице глубокий ветвистый шрам.

— Одинцов, черт бы его побрал... Одинцов заваливает!—Римар резко вымахнул флагом «отбой».

В эту секунду Притыкин на левом берегу испробовал лебедку на тягу—тонн пятнадцать для начала подкинул, не больше,—и Одинцов, конечно, тут же оказался на «черном коне»—трос его трубоукладчика лопнул, как нитка.

— Сто раз говорил: не ставь Одинцова на «хвост» трубы!—Иван Ефремов, бригадир трубоукладчиков, яростно жестикулировал перед сопкой, на которой возвышался Римар.

**ТРЕБУЮТСЯ СОТНИ ЛОШАДИНЫХ СИЛ ТРУБОУКЛАДЧИКОВ, ЧТОБЫ ОПУСТИТЬ ДЮКЕР НА ДНО РЕКИ.**

— Учить тоже надо парня,—сказал Римар.

— Мне эта возня с ним вот где сидит!—Ефремов постучал себя по шее.

Разговоры разговаривать—дело пустое. Ребята уже повыскакивали из своих трубоукладчиков, сгрудились около запасного троса. Федя Лосич резанул электросваркой стальной жгут, Дима Костюк с Ильясовым и Алаевым раздвоили трос, выгнули пружинисто неподдающуюся петлю, начали заплетать стальные «косички».

— Это тебе не студенточку обхаживать,—не справляясь с дыханием, подмигивает Дима Ильясову.—А, командор?

— Не студенточку.—Ильясов добродушно улыбается.

Два москвича, студенты-практиканты нефтяного института Ильясов и Алаев,—находка для бригады: день и ночь летят в них стрелы веселых подначек и шуток. Здесь, на севере тюменского края, вдали от «большой жизни», ради

которой, собственно, и творится тут рядовой рабочий подвиг, особенно в цене шутка, веселое словцо, товарищеская улыбка. Газопроводу Нижневартовск—Кузбасс еще строиться и строиться, а они, ребята Римара, воюют здесь с Вахом—есть такая речка на Севере, под шестьсот метров ширина будет, дай-то бог одолеть ее, протащить газопровод по дну реки (дюкер ему имя, газопроводу, когда тащат его через реку).

— По места-а-ам!—Римар снова делает отмаху флагом.

Снова режут катерпиллеры, брызжут гусеницы трубоукладчиков песком, погромыхивает лебедка на том берегу, затягивая дюкер тросом в реку, толкает трубу в хвост бульдозер-хорвейстер... А дюкер ни с места, черт бы его побрал!

— Левый, левый, я—правый, какая нагрузка?

— Правый, правый, нагрузка семнадцать...

— Левый, давай больше, давай больше...

— Нагрузка двадцать... двадцать три... двадцать семь...

— Еще...

— Двадцать девять... тридцать... больше не могу...

— Еще...

— Не могу... Лопнет трос... Не могу... В наушниках что-то затрещало, писнуло, тренькнуло—и смолкло.

— Техника, тоже мне...—проворчал Римар и в ярости отбросил микрофон.

Терпеть он не мог эту рацию: говоришь—делай включение, слушаешь—делай выключение. Сейчас бы сюда обычный полевой телефончик, уж тот, трудяга, редко подводит. Тот свой в доску, а главное, там и говоришь и слушаешь одновременно.

Таня Леонкина, радистка, словно чувствуя за собой вину, прямо с сопки прыгает вниз и, проваливаясь в песке, бежит в поселок. Поселок, где они живут, совсем рядом, но дорога к нему

бывает ой как далека. Только начнется настоящая работа—день и ночь пропадают на берегу, сдобривают его потом и солью горячее «стальной страды». «Скорей, скорей...»—стучит у Тани в висках: ей и стыдно, и горестно, и обидно. А как же—ведь это именно ее рация подвела. Больше трех лет она, москвичка, работает с разными партиями в Сибири и всякий раз горько переживает поломки. И потому бежит, торопится, запыхалась вконец Таня Леонкина, совсем еще девчонка, которой нет и двадцати лет... Рядом с Таней, как всегда в трудные минуты, бежит верный пес Калина.

Но если б дело было только в рации! Римар склонился над схемой, рядом пристроился Тонклевский, представитель спецуправления подводно-технических работ.

— Что будем делать, Иосиф Яковлевич? Не идет дюкер...

— Не пори горячку, Владимир. Главное тут, знаешь, что?

— Что?

— Слаженность—вот что. Смотри: мы у себя спихиваем дюкер в Вах. Только он пошел, а Притыкин на том берегу нагрузку не увеличивает. Чувешь? Трубу надо на ход подхватывать: пошла она—ты давай нагрузку на полную катушку. С Притыкиным надо сработаться, пускай трос не жалует. Давай-ка я сам попробую...

Тут как раз Таня Леонкина вернулась. — Владимир Францевич, сейчас антенну замену, и порядок, я мигом, я забыла, что еще в прошлый раз хотела заменить...

— Ну, давай, давай,—успокаивает Таню Римар.—Ждем.

Римар отходчив, хотя и суров на вид. Он и в края эти потянулся, потому что любит людей особой, северной закалки: немногословных, суровых внешне, работающих, а главное, преданных своему делу. Там, у себя, в Ростове-на-Дону, он буквально тосковал по настоящей, мужской работе, по трудностям, по горя-



Продолжение на 27-й стр.

# ЧЕСТНОЕ КОМ

## Человек среди людей

**М**ы сидели в домике егеря, пили горячий, круто заваренный чай из разнокалиберных эмалированных кружек. Компания собралась случайная. Под крышу нас загнал обложной дождь, начавшийся через два часа после рассвета. Пришлось смотреть удочки и покинуть прикормленные с вечера места. Было утро субботы, каждый надеялся еще наверстать упущенное. Пережидали.

— После дождя клев лучше будет, — неуверенно и с надеждой произнес Игорь Леонидович, пожилой грузный мужчина в очках.

— Это как закон, — подхватил Генка, быстроглазый непоседливый парнишка лет пятнадцати. — Прошлый раз у меня после дождя такой карп взял, что леска не выдержала. Только голова над водой показалась. Килограмма два, наверное, рыбина.

— Ты и взвесить успел? — насмешливо спросил Федор Афанасьевич, егерь, которого благодаря сравнительно молодому виду звали просто Федей.

— Не взвешивал, но видел. Во какой поросенок. — Генка широко развел руки. — Если не верите, могу дать честное комсомольское...

— Гена, — оборвал его отец — Виктор Николаевич, седоволосый и по-юношески стройный мужчина, — сколько раз я тебе говорил: нельзя на каждом шагу давать комсомольское слово.

— А что делать, если не верят?

— Это ты из чего заключаешь? — улыбнулся Федя.

— Да вы сами начали. Насчет веса...  
— Надо рассказывать так, чтобы верили, — сказал Виктор Николаевич. — Бить себя в грудь при этом вовсе не обязательно. Тем более подтверждать истинность рассказа комсомольским словом. Ведь это слово равнозначно клятве. А разве допустимо давать клятву по пустякам?

— Даже по значительному поводу иногда тоже лучше воздержаться, — тихо заметил Игорь Леонидович, до этой поры почти не принимавший участия в разговоре.

— Это почему же? — живо откликнулся Виктор Николаевич. — В особых случаях клятвы необходимы. Они подчеркивают торжественность момента, важность предстоящего дела. Бойцы, например, приносят присягу, выпускники мединститутов дают клятву Гипократа. На многих предприятиях при посвящении в рабочие сейчас узаконен ритуал торжественной клятвы. Он нужен, он как бы обязывает достойно пройти по жизни.

— Я не об этом... — протянул Игорь Леонидович. — Больше тридцати лет назад я дал честное комсомольское, которого и сейчас не могу себе простить. Хотите расскажу?

Мы приготовились слушать.

— В молодости я был не такой тюфяк, как сейчас, — начал Игорь Леонидович. — Я легко вырывал двухпудовую гиру, по многу раз подтягивался на перекладине, прыгал в длину под шесть метров, на лыжах за мной не многие могли удержаться. Учился на «отлично», к тому же был заидленным общественником. За это, видно, меня и избирали комсомольским секретарем школы... Стать полярниками мы с Сергеем Ложкиным, другом детства и одноклассником, решили твердо. Перечитали всю литературу о полярных путешествиях, которую только смогли достать. Готовясь к нелегким испытаниям в будущем, тренировали ум, волю и тело. Конечно же, хоть однажды данное обещание было для нас законом. Честное комсомольское считалось святыней. Так, кстати, к нему относилась вся школа. Человек, нарушивший комсомольское слово, казался недостойным человеческого звания. Я говорю это не для того, чтобы похвастаться, — Игорь Леонидович сделал едва заметную

паузу, видимо, в поисках нужных слов, — просто хочу подчеркнуть прямолинейность своего поведения и категоричность суждений в тот период. Не знаю, стали бы мы полярниками или нет. Думаю, что стали бы. Цель представляли довольно точно и шли к ней серьезно, настойчиво. Но, сами понимаете, война с нашими целями не считалась. Получилось так, что осенью 1942 года мы с Сергеем оказались в одном партизанском отряде. Было нам тогда по семнадцать... Во время очередного выхода в районный центр за продуктами меня схватили полицаи. Не найди они у меня двух гранат, все бы, наверное, обошлось. Привели меня в управу, втолкнули в кабинет начальника. Я глинул — словом током меня ударило. За столом сидел Михаил Филиппович Горошко, наш бывший школьный преподаватель истории.

— О-о, Игорь! Вижу, что не напрасно ставил тебе пятерки. Пошла наука впрок.

Меня просто дрожь охватила от ярости. Вот ведь как переворачиваются люди!

А он, видно, заметил, как я подобрался.

— Юному барсу не нравятся в клетке, — смеется, — ничего не поделаешь. Вынужден преподавать тебе еще один урок. Диктатура пролетариата имеет и обратную сторону. Вы хотели уничтожить нас. Не получилось. Теперь мы уничтожим вас. Исторически это справедливо. Не так ли?

Потом он спрашивал про гранаты, про партизан. Конечно же, я и не думал признаваться, что хоть как-то связан с ними. Но закончил Горошко неожиданным предложением:

— Песенка красных спета. Это не мой вымысел, а историческая неизбежность. Так, кажется, по-марксистски? Все революции кончились крахом. Вспомни Кромвеля и Робеспьера. Скоро на всей русской земле утвердятся разумный порядок. Лишняя кровь никому не нужна. Иди к своим партизанам, я тебя отпускаю. Обещай только, что уговоришь их разойтись по домам. Тех, кто сдастся добровольно, мы не будем карать.

«Ловит на крючок, — подумал я. — Не выйдет».

— Я уже говорил, — ответил со вздохом, — не знаю никаких партизан.

— Упрямец — Горошко посмотрел на меня строго. — Ладно, не буду требовать от тебя признаний. Если ты мне дашь честное комсомольское, что вернешься сюда через двое суток, я разрешу тебе беспрепятственно выйти. Если ты связан с партизанами, передай им мои слова. Если нет, просто прогуляешься и вернешься.

— Разве для вас что-то значит комсомольское слово? — удивился я.

— Для меня нет. Для тебя значит.

Скорее всего я проявил слабость, может, некоторое недомыслие. Мне казалось, что никого я этим не подвожу... Короче, я дал ему слово.

На что он рассчитывал, отпускал меня? Привлечь на свою сторону вряд ли надеялся. Он все же был не дурак. Самое правдоподобное — хотел установить за мной наблюдение и выследить отряд. Мне такая мысль хоть и не сразу, но пришла в голову. Поэтому прежде чем вернуться к своим, я долго плутал проходными дворами — уходил от возможного «хвоста».

Вернувшись в отряд, я первым делом рассказал обо всем Сергеем. Он вначале отругал меня за то, что я так глупо попался. Но потом неожиданно сказал, что нарушать комсомольское слово никто не имеет права, даже если оно дано врагу, хуже того — изменнику.

— Ты прав, — сказал я ему, — и ты настоящий друг. Чем жить подлоем, лучше умереть с честью.

Сергей посмотрел на меня удивленно, улыбнулся.

— Ну, до смерти еще не дошло. Как-никак у нас в запасе больше суток. Заранее умирают только трусы.

Много позже узнал я о том, что уже тогда у Сергея созрел отчаянный план.

До вечера я не видел Сергея. Никто не знал, куда он ушел. А на рассвете в отряд пришла ошеломляющая весть. Какой-то человек вошел в кабинет начальника управы, трижды выстрелил в него из пистолета, выпрыгнул в окно и убежал. Еще через час связной из села, лежавшего вблизи от райцентра, подтвердил эти сведения. Только добавил, что стрелявшему уйти не удалось. За ним гнались, он отстреливался и был убит.

К полудню мы уже знали все подробности этой истории. Уничтожил Горошко Сергей Ложкин. Действовал он самостоятельно, не предупредив никого в отряде о своих намерениях. Я понял: друг освободил меня от необдуманного обещания, заплатив за это жизнью.

Конечно же, я во всем признался товарищам, терпеливо выслушал упреки, обрушившиеся на меня, обещал смыть вину кровью. От пуль не бежал, несколько раз был ранен, отлежавшись, снова ходил в бой...

Игорь Леонидович умолк. Мы тоже некоторое время молчали, собирались с мыслями.

— Вы рассказали о крайнем случае, — заговорил наконец Виктор Николаевич. — А в крайности, знаете, всегда содержатся элементы отрицания.

— Пожалуй, да, — устало кивнул Игорь Леонидович. — Однако, согласитесь, истинность любого правила проверяется именно в крайней ситуации.

— Что же вы проверили? — спросил Федя.

— Можете твердо сказать, как надо было поступить? Иными словами, окажись сейчас в том же положении, нарушили бы вы слово?

— Не знаю. Понимаете, есть черта, переступив которую нельзя оставаться самим собой. Могу только сказать, что сейчас бы я такого слова не дал.

— Это точно, — уверенно вставил Генка. — Если пообещал, надо выполнять.

— Есть и другая мудрость: язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. — Федя явно хотел подлить масла в огонь.

— Не согласен, — возразил Виктор Николаевич. — Не для того, чтобы скрывать, а для того, чтобы отстаивать. Скрывают отсутствие мыслей.

— Знаете, Гена меня сегодня несколько озадачил. Давно мне уже не доводилось слышать словосочетание «честное комсомольское». — Игорь Леонидович направлял разговор в прежнее русло. — Стал даже думать, что звучание его утратилось.

— Вывод совершенно неверный, — сказал Виктор Николаевич. — Не утратилось, а, наоборот, усилилось. В простых жизненных отношениях совершенно излишне клясться святыней. Это уместно лишь в исключительных обстоятельствах. Тогда, например, когда человеку, чтобы выполнить обещание, потребуется напряжение всех духовных и физических сил. И смысл здесь только в форме, потому что она помогает мобилизовать эти силы... А вообще-то говоря, как мне кажется, неверно делить слово комсомольца на комсомольское и иное. Каждое комсомольское. Точно так же абсурдно делить слова на честные и обычные. Есть просто слово, одно — честное.

— Тут с вами соглашусь, — кивнул Игорь Леонидович. — Редкое обращение к честному слову в практике говорит о возросшей культуре общества. Если человек что-либо пообещал, оскорбительно требовать от него подтверждения. Поэтому я и заметил, что Гена меня удивил.

— Не характерно это для него, — улыбнулся Виктор Николаевич. — Верно, Генка? Хоть, может, я и ошибаюсь и вы с товарищами на каждом шагу пускаете в ход «комсомольское»?



# СОМОЛЬСКОЕ

Николай ЛЕЛИКОВ

— Что ты, папа! Случайно вырвалось.

— Случайно, может, да и не совсем; дыма без огня не бывает,— засмеявшись, сказал Федя.— Но в основном верно подмечено. В общении теперь люди друг другу меньше дают торжественных обещаний. Особенно с возрастом.

— Это вполне объяснимо,— согласился Виктор Николаевич.— Наиболее часто мы слышим честное пионерское. Детям просто хочется подчеркнуть свою принадлежность к пионерской организации. Способ самоутверждения. Точно так же и комсомольцы, особенно в четырнадцать лет. На первых порах им просто как можно больше хочется показать всем, что они именно комсомольцы. Потому и напоминают об этом при первой возможности. Потом привыкают, осознают, что причастность свою к союзу нужно доказывать только делами, поступками.

— Если бы все свое слово всегда держали, жизнь совсем простой бы стала,— сказал Игорь Леонидович.— Да только люди-то разные встречаются. Попадают и подлецы и просто слабовольные.

— Конечно,— подхватил Федя,— а язык, как известно, без костей.

— У кого язык без костей, у того и спина без хребта,— сказал Виктор Николаевич...

...В тот вечер мы к единому мнению так и не пришли. Разошлись по своим палаткам: утром вставать рано, зорьки бы не проспять. Я долго лежал без сна, думал о недавнем разговоре, вспоминал старый случай—еще из той поры, когда я работал в районной газете после окончания университета. Пришел как-то на именины к местному следователю Андрею Савельеву, тоже недавнему выпускнику вуза. Компания собралась небольшая, стол был накрыт вовремя. Однако не сажались, ждали друга хозяина—Олега, который работал инструктором в райкоме комсомола и накануне выехал в командировку в район. Было высказано предположение, что мог человек задержаться и даже наверняка задержался—из-за непогоды. Андрей категорически его отверг:

— Раз Олег обещал, он будет.

Долго, однако, ждать было неудобно. Подняли первый тост без Олега. Потом пошла обычная застольная беседа. И все же Андрей украдкой поглядывал на часы, лицо его мрачнело. Облегченной улыбкой оно расцвело лишь на исходе вечера, когда появился Олег. Вместе с клубами морозного пара он шагнул через порог, одежда его обледенела, выбившиеся из-под шапки волосы и брови заиндевели.

— Вот к нам и Дед Мороз пожаловал!— обрадованно воскликнула жена Андрея.

— А вы что ж, думали без сюрприза остаться?— подхватил шутку Олег.

В этот день Олег пережил приключение, или, как он выразился, сам накликал его на свою голову.

С делами он справился до вечера и готов был утром выехать на первой попутной машине. Однако на следующий день оказии не случилось. Терять попусту время не хотелось, к тому же Олег обещал Андрею прийти вечером. От колхоза, где он заночевал, до райцентра было около ста километров. Из них по проселку—тридцать шесть. Дальше начиналась асфальтированная магистраль до Мурманска. Уж на этой дороге наверняка можно было рассчитывать на машину. Решил идти пешком.

На выходе из поселка наперерез Олегу вышел парень, растрепанный, в сбившейся на затылок шапке.

— Здорово, друг! Послушай, как попасть в Мурманск?

— В Мурманск, говоришь?— переспросил Олег и, повинувшись какому-то озорному порыву, неожиданно для себя добавил:— Пошли!

От такого предложения парень опешил, оста-

новился, заморгал глазами. Когда уяснил смысл ответа, Олег уже был далеко впереди. Парень пустился вдогонку. Поравнявшись с Олегом, заорал ему на ухо:

— Ты серьезно? Пешком?

— Серьезно.

— Тогда я с тобой!

— Ладно, топай. Только не отставай.

— Я отстану, я?— Парень едва не задохнулся от негодования.— Да ты не знаешь меня!

Пройдя километра два, он стал злорадно поглядывать на Олега, отыскивая у него признаки усталости.

— Слушай,— не выдержал он,— я ведь тебя обгону.

Молчание. Парня оно стало раздражать.

— Хочешь, я тебе морду набью?— внезапно выпалил он.— Хочешь?

— Не дури, шагай.

Но парень постепенно начал отставать. Он уже забыл, что грозил Олегу обогнать его.

Пройдя метров двести, Олег оглянулся. Широко расставив ноги, парень стоял посреди дороги и смотрел куда-то в сторону. Снег на дороге лежал утоптаный, идти было легко. Возле километрового столба Олег взглянул на часы.

«Девять минут километр. Надо бы резвее»,— подзадорил он себя и зашагал шире.

Он уже перестал думать о нелепой встрече и тут услышал сзади поскрипывание снега. Зажав в кулаке шапку, шумно выпуская ртом воздух, по дороге мчался недавний попутчик. Догнав Олега, он не сбавил темпа, пробежал еще метров триста вперед. Потом уселся на обочине и стал ждаться.

— И в самом деле в Мурманск!— радостно прокричал поравнявшемуся с ним Олегу.— Да мы же с тобой прямо первопроходцы.

«Вот неугомонный,— улыбнулся Олег,— есть все-таки в нем упорство».

— Слушай,— продолжал парень,— мы придем в город и купим бутылку водки!

Последние слова он произнес нараспев, с умилением.

Олег откровенно рассмеялся—слишком несообразной показалась цель, к которой шел попутчик.

— Ты не шуми,— посоветовал он,— побереги лучше дыхание.

Парень снова рысцой пустился вперед. Чтобы не отставать, он решил применить тактику перебежек. Однако, к своему удивлению, стал утомляться еще больше.

— Ничего, мы геологи,— с нарочитой бодростью говорил он, вытирая сами собой выступившие слезы.

Олег уже не смеялся, даже шаг немного замедлил.

— Тебя звать-то как?— спросил он.

— Ванькой, Иваном, значит. Фамилия Найденов.

— Ты, Ваня, так быстро устанешь, а дорога еще долгая. Возьми ровный темп и держись рядом со мной. Легче будет—метод проверенный.

Теперь Иван смотрел на Олега с большим уважением, совету вял. Скоро втянулся в ходьбу и действительно почувствовал себя легче.

— Я хожу люблю,— разглагольствовал он,— в детстве шел из моего родного села в Великий Устюг. Сто сорок километров. Дорога какая красивая!

Прошла примерно полпути. Иван снова начал отставать.

— Слушай,— заныл он,— не могу, давай отдохнем.

— Рад бы, да нельзя. Видишь, как небо затянуло. Надо до метели на трассу выйти.

Прихрамывая, Иван-изо всех сил семенил за Олегом и постепенно опять разошелся. Мертвая точка миновала.

— А ты ведь прав,— сообщил он Олегу,— легче стало. Надо было только перетерпеть.

Снежный заряд налетел внезапно. И без того мрачный пейзаж исчез, окутанный мутной пеленой. Крупные косые хлопья слепили глаза, лезли в рот, затрудняли дыхание. В десяти шагах уже ничего нельзя было разглядеть.

— Держись рядом,— крикнул Олег,— иначе потеряемся!

Дорогу заносило буквально на глазах. Если бы не навороченные бульдозером двухметровые снежные брустверы, возвышающиеся по обеим сторонам, сбились бы наверняка. Заблудиться—плохо дело. Бесконечные гряды похожих одна на другую сопки. Тут можно кружить бесконечно...

Наст стал мягким. Ноги вязли по циколютку, местами глубже, почти по колено. Снег набился в ботинки, выковыривать его оттуда было совершенно бессмысленно. Каждый шаг теперь требовал значительных усилий.

— Слушай,— Иван ухватил Олега за рукав,— давай переждем. Не могу.

— Можешь,— со злостью ответил Олег,— можешь, не барышня.

Скоро Иван снова остановился.

— Не могу, делай со мной что хочешь, не могу,— слезливо протянул он.

Олег почувствовал, как в нем закипает холодное бешенство.

«Ну и слабак!— выругал он в душе Ивана.— Разве таким на Севере жить? Что мне, нести его на себе?»

Злость улеглась внезапно. Олег шагнул к Ивану, подставил спину.

— Ты что, слурел?

— Садись!

— Не надо, я сам.

Проваливаясь в снег, падая, они продолжали путь.

Слепящую темноту кинжалом прорезала светлая полоса.

— Трасса!— Олег толкнул Ивана в бок.— Трасса!

Через полчаса, прижавшись друг к другу, они лежали в открытом кузове.

— Мы герои, настоящие герои!— возбужденно говорил Иван.

— Не болтал бы ты,— добродушно оборвал его Олег. Настроение у него тоже было приподнятое. Оттого, что преодолел нелегкий путь, оттого, что заставил сделать то же разболтанного парня, оттого, что сможет сдержать данное слово. Правда, быть на именинах, даже у друга, не очень высокого значения долг. Но он же обещал...

«Честное комсомольское, честное слово, просто слово,— размышлял я.— Для безвольного, ветреного человека—пустой звук. Для подлеца—форма обмана. Для того, кто относится к жизни ответственно,—закон. Выходит, все дело в том, кто даст слово?»

Когда мы поднялись на зорьке, я поделился этим несложным выводом со своими случайными знакомыми.

— Вот что вспомнили!— сказал, словно прищипнул, Виктор Николаевич.— Это как дважды два.

— Когда говоришь о моральных нормах, непорядочных людей, естественно, со счета сбрасываешь,— заметил Игорь Леонидович.— Помоему, важно здесь другое. Если слово—закон, не надо по любому поводу играть со словом.

— Как говорят, семь раз отмерь,— хитро прищурился Федя.— Между прочим, карась должен сегодня хорошо клевать.

— Это еще не закон,— пробасил Виктор Николаевич.

— Нет, закон.— Федя говорил уверенно.— Ветер переменялся на южный, теплень после ненастья. Наверняка быть клевету...

# ЗЕЛЕНЬ



Антон КУЗЬМИН  
Фото Эдуарда ЭТТИНГЕРА

**Т**еперь в деревне Сумароково этим никого не удивишь, разве что приезжих.

Каждое утро — в будни и в праздники, летом и зимой, в снежную пургу и под проливным дождем — над деревней разносятся призывные звуки горна. Раз, другой, третий. Проходит минут двадцать, и на опушке леса появляются лоси. Огромные и в то же время изящные животные доверчиво и радостно идут к человеку, соскучившись по нему за ночь. Он окликает их каждого по имени, пересчитывает. Затем поворачивается к нам:

— Все, можно было и не считать. Такого еще не было, чтобы кто-нибудь не пришел или опоздал...

Так начинается утро на лосиной ферме близ Костромы, носящей строгое официальное название: «Лаборатория лосеводства Костромской сельскохозяйственной опытной станции». Здесь под наблюдением нескольких сотрудников-энтузиастов «воспитываются» сорок лосей.

Судя по многочисленным историческим свидетельствам, лось когда-то уже был домашним. И потому задача сотрудников сумароковской лосиной фермы сегодня состоит в том, чтобы вновь приучить его к человеку. Приучить к стаду, к упорядоченному «режиму дня», ввести, что называется, в культуру.

Начало этой большой и важной работы было

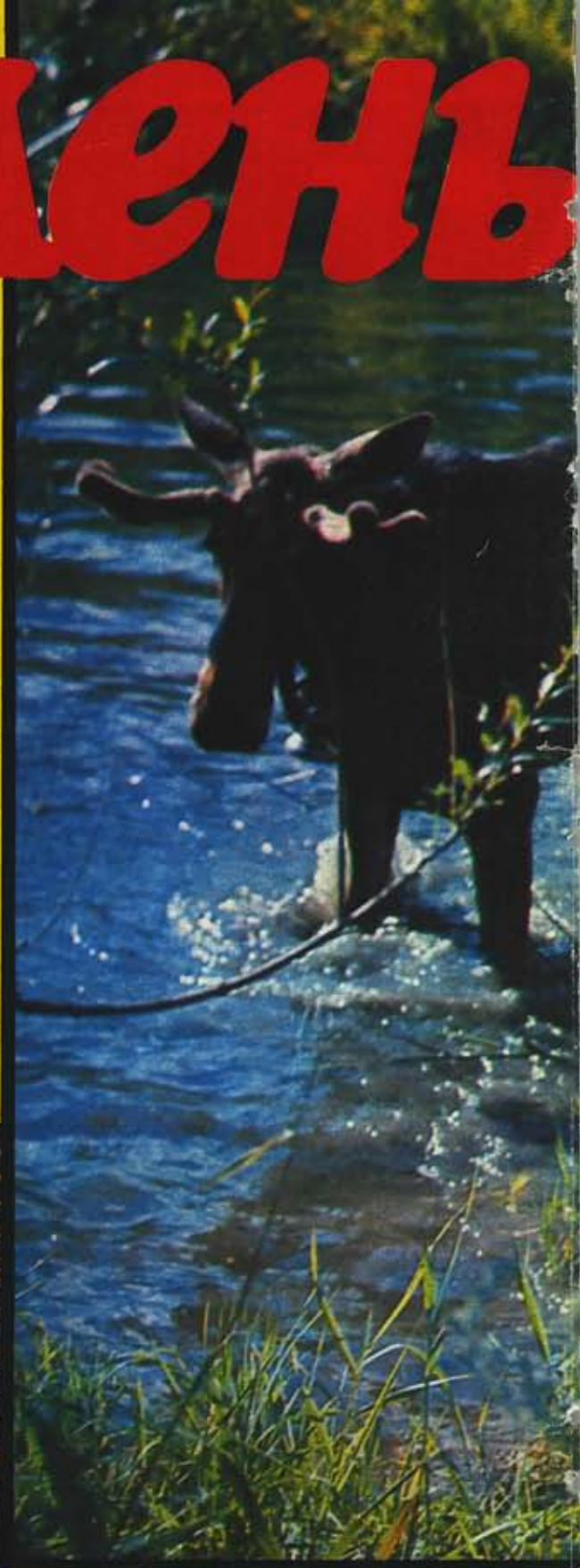
положено еще в сороковые годы в Печоро-Ильчском заповеднике известным зоологом Е. П. Кнорре. Сейчас эстафету северянина подхватил его ученик и последователь, выпускник Костромского сельскохозяйственного института Анатолий Михайлов. Еще студентом он проходил практику на Печоре, там заразился «лосиной проблемой» и, вернувшись домой, сплотил вокруг себя таких же, как он, одержимых, уверенных в полезности своего дела людей.

Начали просто: отловили в костромских лесах нескольких лосят, им в подкрепление привезли с Севера еще несколько племенных животных и... начали жить вместе. Ухаживать за лосями, кормить повкуснее, вместе гулять. Внешне, во всяком случае, так это и выглядит. А лось словно ждал такого призыва, такой заботы, отвечая на нее послушанием и добрым нравом.

Полина Вицакова, жена и верный помощник Михайлова, рассказывает:

— После обеда поведешь стадо в лес, ходишь с лосями, а они от тебя ни на шаг. Глаз не спускают:

**И ГИГИЕНА, И ЗАКАЛИВАНИЕ.**

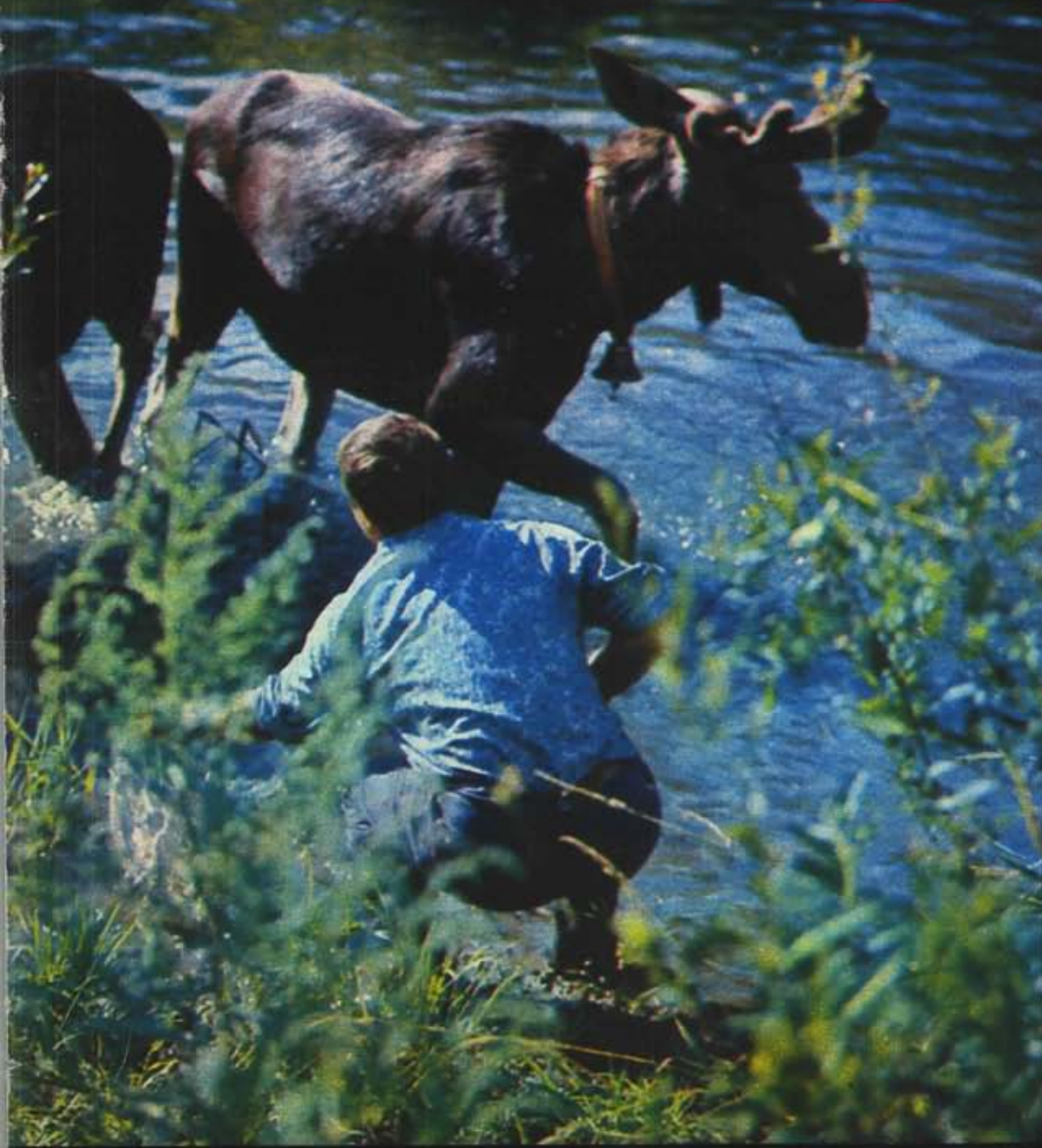


если даже разбредется, одного, как сторожа, обязательно рядом оставят — присматривать. Мне в восемь вечера пора домой возвращаться, так от них просто так ни за что не отвяжешься. Раз спрячешься — отыщут, два — то же самое. Никак не поймут, что и мне отдохнуть не мешает...

Отдохнуть действительно не мешает: сотрудников на ферме немного, а для всех лосей надо кормов наготовить, подсолненного сена и подсолненной воды, для молодняка — молока и овсяной болтушки. (К слову, стадо росло быстро: если рождение первого лосенка стало событием, то несколько лет назад в Сумарокове был установлен своеобразный рекорд — в один день родилось девятнадцать лосят, и все выжили благодаря правильному уходу и активной заботе человека. Новоиспеченных «костромичей» надо регулярно взвешивать, измерять, то есть скрупулезно выполнять весь план намеченных научных исследований.)

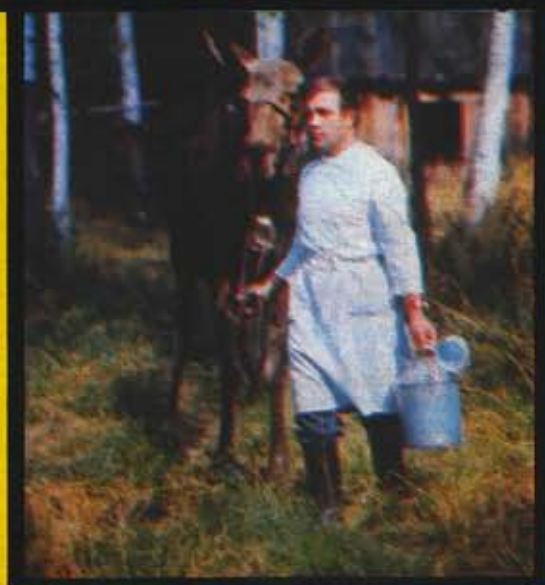
**ЗДЕСЬ, НА ФЕРМЕ, ЛОСИ КАК ДОМА.**

# И об бед



Ученые, работающие в новой сейчас отрасли животноводства — лосеводстве, доказали, насколько ценны и питательны продукты, получаемые от лоса. Лосиное молоко в три раза богаче жиром и в пять раз белком, чем коровье, масло из него можно сбивать без сепарирования. Сто граммов лосиного мяса полностью покрывают суточную потребность человека в витаминах и микроэлементах. А лекарство, вырабатываемое из пантов лоса, почти не уступает по своим свойствам известному пантокрину. А вот еще одно важное обстоятельство: за несколько месяцев вчерашние новорожденные набирают живого веса не меньше 150 килограммов! Питаются же лоси, что называется, чем бог послал. Их вполне удовлетворяют болотная трава и зеленые побеги, опавшие листья, хвоя, срубленные сучья и кора деревьев. Конечно, с едой становится сложнее зимой и особенно к весне. Вот тогда-то и требуется им забота человека, рачительного хозяина природы.

СОХАТЫЕ ЗНАЮТ СВОЕГО ДОЯРА.



Дикий лось, если его поголовье не регулировать, может нанести лесопосадкам немалый урон. А если регулировать? Ученые подсчитали, что лесные пастбища нашей страны, прежде всего Севера, Сибири и Дальнего Востока, способны «выдержать» без какого-либо ущерба для лесного хозяйства до 15—20 миллионов одомашненных лосей. Вместо того, чтобы на многочисленных вырубках сжигать кору, листья и сучья, можно возвращать на этих лесных «продуктах» мясо-молочное лосиное стадо; к тому же лось еще и непревзойденное транспортное средство: даже по бездорожью он свободно несет на себе до 120 килограммов груза, за день может отмахать до 30—40 километров, холодной осенью и зимой способен работать круглосуточно. Лось, привыкший к человеку и его развитому хозяйству, не боится ни машин, ни самолетов, ему, неприхотливому в быту, не нужно теплых помещений, хозяйственных построек. Как утверждает Анатолий Михайлов, вырастить лоса, который в прямом смысле на подножном корму прибавляет в день до 800—1000 граммов веса, обходится в три раза дешевле, чем теленка.

Труднее всего лосю приходится жарким летом, когда животное изнемогает от гнуса и зноя: кожа его плохо пропускает влагу и перегревается, так что лось может быть активным только ночью. Летом главная его задача — набрать вес, зато в этот период он «платит» человеку великолепнейшим молоком.

И здесь свое последнее слово еще должна сказать селекция: ведь не исключено, что ученые сумеют вывести теплолюбивую породу лоса.

Маленькая, скромная по размерам ферма в Сумарокове — это одиннадцать гектаров заказника, бревенчатый домик-лаборатория, несколько огороженных деревянным забором загонов. Сотрудники фермы-лаборатории: Анатолий Михайлов, Полина Виталова, Надя Дуркина, Алексей Келип и другие — на все руки мастера: и ученые, и заготовители, и дояры, и пастухи. И работу делают большую, государственную, не считаясь ни с временем, ни с затратами сил, ни даже с тем, что дальше молчаливого признания идеи одомашнивания лоса вышестоящие организации не

«А ГДЕ МОЕ МЕСТО?»



идут. А пора бы. Семь лет назад в Москве состоялось Всесоюзное совещание по вопросам развития лосеводства. Совещание рекомендовало шире внедрять в сельскохозяйственную практику достижения Печоро-Ильчского заповедника и костромской фермы. Говорится: обещанного три года ждут, а тут уже семь прошло...

Тот, кто повидал домашнего лоса, уже никогда не забудет его величавой и естественной красоты, его добродушия. Не забывает человека и лось. Когда-то он уже был домашним и теперь вновь тянется к «дому». Вот какой рассказ довелось услышать в Сумарокове.

По какой-то неизвестной причине годовалая лосиха ушла из стада в просторы тайги. Года через два ее случайно встретил человек, бывший прежде ее хозяином. Услышав знакомый голос, заматеревшая уже лосиха быстро подбежала к нему, обнюхала и тотчас сунула морду в карман, где, как помнила, обычно лежали лакомства. Лосиха отправилась за человеком, хотя он и не думал звать ее, шла за ним пять километров, вернулась домой и уже больше никуда и никогда не уходила.

Лось не прочь иметь свой «отчий дом».



## ВСТРЕЧА В НОЧЛЕЖКЕ

Это дословный рассказ молодого человека, с которым я познакомился в ночлежке для бездомных «Арлингтон хауз» на севере английской столицы.

«Мне сегодня повезло — попал сюда! Поделиться опытом?»

Если вы хотите получить койку, надо прийти часов в двенадцать утра. К трем у «Арлингтон хауз» уже очередь на целый квартал. Сотни мужчин, и все оборванные, в стоптанных башмаках, небритые. Пускать начинают в пять, а через час швейцар вывешивает табличку: «Мест нет». Бездомных в Лондоне почти в десять раз больше, чем коек в ночлежках.

мрачное, чем снаружи. Да, здесь сыро и грязно, через щели в стенах и разбитые окна врывается ветер. А плата за ночь немалая — пятьдесят пенсов. И все-таки я радуюсь, когда попадаю сюда. Это лучше, чем коротать ночь на улице.

Пойдемте, я покажу комнату. Вот моя кровать — одна из двенадцати, которые стоят тут. А это — мое имущество. Оно нехитрое: мыльница, зубная щетка и полотенце. Надеюсь, вы извините, что я вас ничем не угощаю, единственное, что могу предложить, — воду из-под крана.

Мрачную картину я нарисовал. Но ведь я цветной! Между прочим, добрая половина обитателей ночлежки — выходцы из Азии и Африки.

Помню, как-то вечером я нес газеты в редакцию «Дейли Мейл». В проходном дворе меня остановили трое парней. Не сказав ни слова, они начали меня избивать. А убегая, крикнули: «Так будет с каждым черномазым!» Я с трудом добрался до больницы.

О расизме в Англии пишут мало, но он набирает силы. Видели ли вы хоть раз в лондонском банке клерка с темным цветом кожи? Зато грузчики, которые таскают на центральном почтамте мешки с посылками, — одни цветные. Нас берут лишь на грязную и низкооплачиваемую работу. А если иммигрант занимает равную с «белым» должность, то платят ему гораздо меньше.

Уровень безработицы среди «неевропейцев» почти в три раза выше, чем среди уроженцев Англии. Однажды я прочитал в газете доклад министерства по делам занятости. В нем были слова: «Конечно, плохо, если вы безработный. Но вам вдвое хуже, если вы молодой безработный, и вчетверо хуже, если вы черной молодой безработный».

Вы были рано утром на центральном рынке Лондона

километрах севернее Лондона. Расстояние солидное, но на то, чтобы доехать до Лидса, я потратил, пожалуй, не больше времени, чем на розыски дома художника. Полицейский объяснил, где приблизительно находится Холборн-стрит, на которой живет Тернер. Но потом начались малоуспешные поиски. Англичане почему-то не любят вывешивать названия улиц, однако Лидс, как мне тогда показалось, оставил в этом отношении далеко позади другие города. Я долго колесил по узким, петляющим по холмам улочкам. Каждые несколько минут останавливался и спрашивал прохожего. В ответ слышал: Холборн-стрит рядом, попробуйте свернуть направо (или налево).

Проезжая в энный раз по какому-то безымянному переулку, увидел художавого, среднего роста человека с густой черной бородой. Знакомое лицо. Да это Тернер, его фотография была в «Морнинг стар»!

— Я понял, что вы заблудились, и отправился на поиски, — улыбнулся он.

Эндрю оказался живым, общительным человеком, и спустя полчаса я уже немало знал о нем.

Тернер родился в 1939 году на севере страны, в деревне Сторнибан. Ее называли «маленькой Москвой» — добрая треть жителей деревни были коммунистами. Местную организацию компартии возглавлял отец Эндрю — потомственный горняк. Шахта с детства стала для мальчика вторым домом, он часто ходил туда и рисовал. С тех пор тяжелый и опасный труд горняков — одна из основных тем его творчества.

Однажды в их дом пришла беда: в шахте упала балка и повредила отцу позвоночник. Надо было кормить семью, и шестнадцатилетний Эндрю встал на место отца. Закончить школу ему не удалось.

Михаил ОЗЕРОВ

# ТРАМ

Вы просите, чтобы я рассказал о себе. Ладно. Зовут Асаф Джилани. Я пакистанец, мне двадцать пять лет. Приехал в Лондон восемь лет назад из Карачи. Поступил в университет на физический факультет. Окончил вуз, но устроиться нигде не мог — никто не хотел брать «цветного». Лишь спустя год нашел работу — стал разносчиком газет. И это после университета! Но через полтора года меня и оттуда уволили.

Другой работы нет. Поэтому пришлось отказаться от комнаты, которую снимал.

Где я ночую? Чаще всего под мостом «Чаринг кросс» на набережной Темзы. Рядом стоит на приколе шхуна «Эспаньола». В ней шикарный ресторан. Однажды ради любопытства я поглядел на меню, оно вывешено у входа: семга в вине, лобстер-термидор, еще какие-то блюда, о которых я и не слышал. Из ресторана по вечерам доносится музыка, веселый смех.

В «Эспаньоле» ужинают богатые туристы. А потом «для контраста» они нередко навешиваются под мост. Когда ко мне в первый раз подошли — это была группа шведов — и стали фотографировать, я разъярился. Но постепенно привык...

Под «Чаринг кроссом» не всегда хватает места. Тогда я сплю на скамейке в парке или прямо на тротуаре, подстелив газеты.

Прошлой зимой мне никак не удавалось попасть в ночлежку или хотя бы устроиться под мостом. А погода стояла отвратительная: сырая, промозглая. Настроение у меня было ужасное, хоть бросайся в Темзу. И я решил позвонить «добрым самаритянам». Есть в Лондоне такое общество. Оно расположено в соборе святого Стефана. Члены его круглые сутки отвечают на телефонные звонки отчаявшихся и одиноких людей, пытаются утешить их.

Я набрал номер 1610. Трубку снял мужчина. Он спросил, что случилось, что меня угнетает. У него был приятный, мягкий голос. К собственному удивлению, я взял и рассказал о своей жизни. Мужчина внимательно слушал, а потом ответил: «Я понимаю, вам сейчас нелегко. Но все изменится к лучшему, поверьте. И обязательно приходите к нам, мы подробно поговорим. Считайте, что у вас появился друг».

Я, конечно, в общество не пошел. Но после звонка стало легче на душе. В кои веки услышал доброе человеческое слово!

...Вы считаете, что внутри это здание еще более

«Смитфилд»? Там полно цветных. Они приходят не за свинными окороками или индюшками, а чтобы купить подешевле отходы. Из отходов можно что-то приготовить. На всех желающих их не хватает, поэтому очередь занимают с ночи, как в нашу ночлежку.

Домовладельцы часто отказываются сдавать комнату тем, кто приехал из Индии, Пакистана, Кении, Уганды. Видели на домах красноречивое объявление: «Только для европейцев»?

Кое-кто даже требует выбросить «чернокожих» из Англии. Мы будто бы отнимаем у англичан работу и жилье, да и вообще грозим «растворить» великую британскую нацию. Это расистские призывы. Но власти смотрят на них сквозь пальцы.

Помните недавний процесс над тремя неграми из Брикстона? Брикстон, как вы знаете, самый бедный район Лондона. Не удивительно, что его населяют в основном чернокожие. Так вот, полицейский оскорбил этих парней, назвал «черными свиньями». И они не выдержали, ударили его. Каждого приговорили к четырем годам тюрьмы. Меж тем на скамью подсудимых надо было посадить не этих ребят, а того, кто над ними издевался.

За последние годы в Англии бесчисленное количество раз принимались законы о цветных. На бумаге они представляли нам кое-какие права. На самом же деле — ничего! А нас, между прочим, в стране почти три миллиона...

Будь моя воля, давно бы вернулся домой. Но где взять деньги на дорогу!

Вам пора уходить? Пойдемте, я провожу вас.

До свидания. Нет, на улице я не выйду — еще не пустят обратно. С нашим братом-цветным не церемонятся».

## ЕГО ТЕМА — ТРУД

Три человека, поддерживая друг друга, бредут по улице. Лучи заходящего солнца освещают сгорбленные фигуры, измученные, покрытые копотью лица. Кажется, они вот-вот упадут и не поднимутся.

— Я изобразил здесь то, что наблюдал каждый день двадцать лет подряд: как возвращаются после работы шахтеры, — сказал Эндрю Тернер.

Мы встретились в его квартире в Лидсе. Это крупный промышленный город в трехстах пятидесяти

Через несколько лет юноша поступил в художественный колледж. Он считался лучшим учеником, но проучился недолго — Тернера исключили в 1962 году за организацию демонстрации протеста против антикубинской политики США. В те дни Эндрю подал заявление о приеме его в компартию.

...На полках в квартире Тернера — книги Толстого, Достоевского, Шолохова, Фадеева на английском и русском языках.

— Вы знаете русский? — спросил я.

— Немного. В шестьдесят девятом году я ездил в СССР. Сколько друзей появилось у меня за те три недели! И сколько часов я провел в Эрмитаже, Русском музее, Третьяковской галерее! Подолгу стоял у картин Серова, Репина, Дейнеки... Знакомство с их творчеством помогает мне в работе.

Но по-русски я говорю с трудом, — добавил Эндрю, — не хватает практики. Надеюсь, когда-нибудь она появится, моя мечта — устроиться в Советском Союзе выставку своих картин. А другая мечта — написать картину о Ленине.

...После этой встречи я не раз виделся с Тернером: на съезде компартии в Лондоне, на съезде профсоюзов в Брайтоне. А потом снова приехал к нему.

На сей раз он предстал передо мной уже и как «официальное лицо»: в Лидсе создали отделение Общества англо-советской дружбы, и Эндрю избрали его председателем.

На стенах комнаты появились новые эскизы. Художник только что закончил большое произведение «Черная пятница», которое состоит из трех полотен.

Весной 1921 года английские шахтеры решили начать забастовку. Однако профсоюзные лидеры предательски сорвали ее. Эти события вошли в историю под названием «черная пятница». На первом из полотен Тернера изображены рабочие, на руках которых умирает голодный, измученный товарищ, на втором — лидеры тред-юнионов, договаривающиеся, как помешать забастовке, на третьем — угольные магнаты, празднующие победу.

Для этой работы характерны классовый подход, бескомпромиссность. Так же, как и для двух полотен, посвященных всеобщей забастовке в Англии 1926 года, для цикла картин о пикетчиках, других произведений Тернера. Его главный герой — рабочий человек. Обычно он некрасив: грубые черты лица, изможденный вид. Что ж, жизнь у него нелегкая.

К сожалению, картины Тернера не часто встретишь в музеях и галереях. А сам Эндрю уже который год не может устроиться на постоянную службу. Куда бы он ни обращался: в художественные училища, рекламные агентства,—его встречает отказ.

— Перед художником-коммунистом, который пишет на политические темы, да еще в реалистической манере, в Англии закрыты все двери. И ничего не сделаешь, у нас закон на стороне тех, у кого есть деньги,—обронил как-то Эндрю.

Зарплата его жены Джени — машинистки в конторе — восемьдесят фунтов стерлингов в месяц. На эти скудные средства и живут они с четырехлетним сыном. Сам же Тернер зарабатывает от случая к случаю, когда, к примеру, профсоюз железнодорожников покупает его картину или Генсовет БКТ заказывает иллюстрации к книге об истории британского тред-юнионизма.

У него нет студии, Эндрю работает и принимает гостей в комнатке метра три длиной и столько же шириной. Она заставлена холстами, увешана эскизами, рисунками, готовыми картинами. Сюда же, когда я приезжал, хозяйка вкатывала столик на колесиках с угощением. Другая, еще меньшая комната служит одновременно спальней и детской.

— Если бы не поддержка профсоюза, товарищей по партии, мы не смогли бы сводить концы с концами,—замечает Тернер.

И это говорит «самый талантливый из ныне живущих английских художников», как писала об Эндрю «Морнинг стар»! Но «Морнинг стар» — газета коммунистов, а буржуазная печать обходит Тернера полным молчанием. Он подвергается явной и узаконенной дискриминации. Цель ее однозначна — «неудобные» должны молчать.

награждала самыми звучными титулами: «Король английского футбола», «Великий Томми», «Чудонападающий»?

Почти 30 лет Лаутон выступал за британские клубы, 23 раза выходил на зеленое поле в составе национальной сборной страны, был ее капитаном. Он забил в ворота соперников свыше 400 мячей. О его могучем ударе, филигранной технике, прекрасных скоростных данных до сих пор ходят легенды. «Томми громил португальцев, ошеломлял итальянцев, ставил в тупик шотландцев. Он летал над полем, как бабочка, и жалил, как оса. Публика ревела от восторга, клубы сражались за него», — писала лондонская газета «Санди пипл».

Бестселлерами сразу становились книги, вышедшие из-под пера центрфорварда: «Футбол — дело моей жизни», «Футбол по-лаутоновски», «20 лет в футболе».

Когда пришло время покинуть поле, Лаутон не захотел расставаться со спортом и в 1958 году стал тренером «Ноттингем каунти». Кстати, это старейшая футбольная команда страны.

— Через одиннадцать месяцев меня уволили,—рассказывает он.—Мне заявили, что я «не повысил класс игры команды». Но разве можно успеть сделать это за такой короткий срок?! Я был возмущен до глубины души. Я сказал себе: раз английский футбол так обращается с людьми, которые отдали ему все, я порываю с ним.

Для Томми наступили годы лишений и нищеты. Он сменил много профессий: от служащего в страховой компании до уборщика улиц. Сбережения таяли на глазах. Однажды с острым сердечным приступом попал в больницу. Когда вышел из нее, устроиться на работу оказалось невозможно: никто не хотел брать

ги,—безжалостно эксплуатировали футболистов, живаясь на нас. Когда же я стал протестовать, мне указали на дверь. Путь в футбол был отныне закрыт для меня. А на службу никто не брал, ведь я умел лишь бить по мячу.

Несколько лет назад Логи написал статью о нравах, царящих в «Арсенале» и в целом в британском футболе. Однако газеты отказались ее печатать — не захотели ссориться со спортивными боссами.

В нищете живут не только бывшие футбольные «звезды». Не может найти работу Дон Коккелл, в прошлом многократный чемпион Великобритании и Содружества Наций по боксу. А еще один боксер, чемпион мира начала пятидесятых годов в среднем весе Рэндольф Терпин, уйдя с ринга, оказался в таком отчаянном положении, что покончил жизнь самоубийством.

Правда, время от времени раздаются призывы принять срочные меры для спасения Лаутона, Логи, Коккелла. Известные спортсмены не раз высказывали тревогу: не произойдет ли с ними то же самое? Ведущий мастер кожаного мяча сегодняшней Англии Джефф Астл в своей книге «Нападающий» делает вывод: пока ты выступаешь, пока ты еще молод и полон сил, надо заработать как можно больше, иначе потом будешь ходить с протянутой рукой.

Я рассказываю Томми, что в Советском Союзе его не забыли. После судебного процесса над ним в московские газеты стали поступать письма читателей, которые возмущались тем, что человек, столько сделавший для британского футбола, влачит жалкое существование. В некоторых конвертах были деньги для Лаутона.

— Папа часто вспоминает о матче с московским «Динамо» в сорок пятом году, о встречах с советскими

## «КАК «КОРОЛЬ» СТАЛ НИЩИМ»

— Здесь ли живет Томми Лаутон?  
— Это я. Что вам угодно?

Седоватый, чуть сутулый мужчина в зеленом свитере выжидательно и, пожалуй, с подозрением смотрит на меня. Я, в свою очередь, во все глаза разглядываю его, еще до конца не веря, что удалось найти знаменитого Томми Лаутона, одного из лучших футболистов в истории Англии.

В Лондоне никто не мог дать его адрес: ни руководители футбольной ассоциации, ни спортивные журналисты. Единственное, что выяснил: раньше Лаутон жил где-то в районе Ноттингема.

Еду туда, где мне уже не раз приходилось бывать. Первый визит к давнему знакомому — директору информационного центра Ноттингема. На него у меня большие надежды. Чего только не знает директор о городе: в какую сумму обошлось сооружение гигантского торгового центра «Виктория», сколько туристов ежегодно посещает Шервудский лес, какова вместительность нового театра «Плейхауз»!

Но на вопрос, где разыскать Лаутона, он разводит руками:

— У нас нет сведений о нем.

Менеджер футбольного клуба «Ноттингем каунти», за который долгое время играл Томми, бросает в ответ:

— Сошедшие спортсмены меня не интересуют.

Единственной «зацепкой» оказалась книга адресов жителей графства Ноттингемшир. В ней, правда, было пять Т. Лаутонов. Пришлось поколесить по району. Бывшего футболиста я нашел в деревушке Вудторп, к северу от Ноттингема.

— Только полицейские посещают теперь мой дом,—невесело усмехнулся Томми.—И сегодня, услышав ваш звонок в дверь, я решил, что это снова «блустители законности».

Комната, где мы разговариваем, маленькая и темная, вся ее обстановка состоит из стола да четырех стульев. Стены совершенно голые.

— Раньше квартира выглядела по-другому,—замечает Гей, жена Лаутона.—Особенно ее украшали спортивные призы. На стенах висели медали, на полках и в серванте стояли кубки. Все пришлось продать: и призы и мебель.

Что же случилось с человеком, которого пресса

пятидесятитрехлетнего больного человека. Сейчас у Лаутона нет средств к существованию.

— Как мне завидовали подруги, когда я выходила замуж за Томми!—вспоминает Гей.—Газеты дали мне имя «счастливица». Мы праздновали свадьбу четыре дня подряд. Сколько народу было на ней!  
— А где же сейчас ваши друзья?

— Друзья! Вы, наверно, читали о нашем так называемом друге Роланде.

Эта история обошла английскую печать. Томми занял у своего приятеля Роланда де Ата 10 фунтов стерлингов. Сумма небольшая, но даже ее Лаутон не мог отдать. Роланду надоело ждать, хотя он человек состоятельный, и он обратился в суд, требуя наказать «злостного должника». В сентябре 1974 года состоялось слушание дела. Учитывая «отягчающие вину обстоятельства» (ранее Томми попал на скамью подсудимых за неуплату налогов в 74 фунта стерлингов), Лаутона приговорили к месяцу принудительных работ.

— Я действительно взял десять фунтов, почти наверняка зная, что не смогу их вернуть. Но они были мне очень нужны: семья оставалась без куска хлеба.

Лаутон на мгновение замолкает, а потом отворачивается в сторону и медленно продолжает:

— Убежден, что я кончу тюрьмой. Меня засадят туда или за новую неуплату налогов, или за долги. А может быть, за нищенство. Оно представляется мне теперь единственной возможностью получить несколько пенсов. Честно признаться, я в полном отчаянии. Как бы я хотел открыть газ и разом покончить со всем! Давно сделал бы это, если бы не жена и сын.

Было невозможно спокойно слышать эти слова. И сейчас, вспоминая их, хочется крикнуть: где же вы, болельщики, рукоплескавшие Лаутону, где вы, менеджеры клубов, получавшие благодаря ему баснословные прибыли, почему не приходите на помощь?! Но кричать бессмысленно.

— Вот уже пятнадцать лет у меня нет работы. Когда встречаю знакомого, то перехожу на другую сторону улицы, не хочу, чтобы он видел, как я опустился.

Это горькое признание сделал другой поверженный кумир — Джимми Логи, товарищ Лаутона по лондонскому «Арсеналу», игрок сборной Шотландии.

— Владельцы «Арсенала»,—рассказал мне Ло-

футболистами,—впервые за вечер подает голос сын Лаутона, названный в честь отца Томми.

Игрокам московского «Динамо», приехавшим в ноябре 1945 года в Лондон, предстояло открыть футбольную Англию. Они знали одно: их соперники считаются лучшими футболистами мира. Особенно грозной была команда «Челси», возглавляемая Лаутонем. В матче с «Динамо» Томми не ушел с поля без гола, но это не принесло победы представителям родины футбола. Встреча закончилась ничью — 3:3.

В книге «Самый интересный матч» Всеволод Бобров, участник этого поединка, рассказывает: «Лаутон был, если можно так выразиться, эталоном центрального нападающего при узаконенной тогда в английском футболе системе «дубль-ве». Физически очень крепкий, высокого роста, широкоплечий, я бы даже сказал, несколько грузный, несмотря на это, он обладал мощным рывком, высокой техникой и безукоризненным ударом с обеих ног. Помню, всех нас также поразили его прыжки и отличная игра головой».

Динамовцы провели четыре встречи с сильнейшими профессиональными клубами Англии. Две выиграли, две свели вничью. Соотношение забитых и пропущенных мячей — 19:9 в пользу гостей. Это был большой успех полпредов нашего футбола.

Томми достает из стола тоненькую книжку — программу выступлений команды «Арсенал» в СССР в 1955 году.

— Это единственная футбольная реликвия, которую я сохранил. Почему? Я преклоняюсь перед вашей страной, перед ее отношением к спортсменам. В том числе к тем, кто уже сошел. Я знаю, что никогда не вернусь в большой спорт. Но если бы вдруг представилась возможность работать у вас тренером, без раздумья согласился бы.

Прощаясь, Лаутон говорит:

— Очень прошу, передайте приветы и наилучшие пожелания «тигру» Хомичу, Семичастному, Боброву, всем тем советским футболистам, с которыми я встречался. Только не забудьте, обязательно передайте.

...В конце улицы оглядываюсь. Лаутон, его жена и сын стоят на пороге своего домика и машут руками. А у меня в голове стучит фраза, сказанная «Великим Томми»: «Я хотел бы открыть газ и разом покончить со всем этим». Сколько тысяч жителей «демократической Англии» вынуждены сегодня говорить такие слова!

# Аквадельная повесть

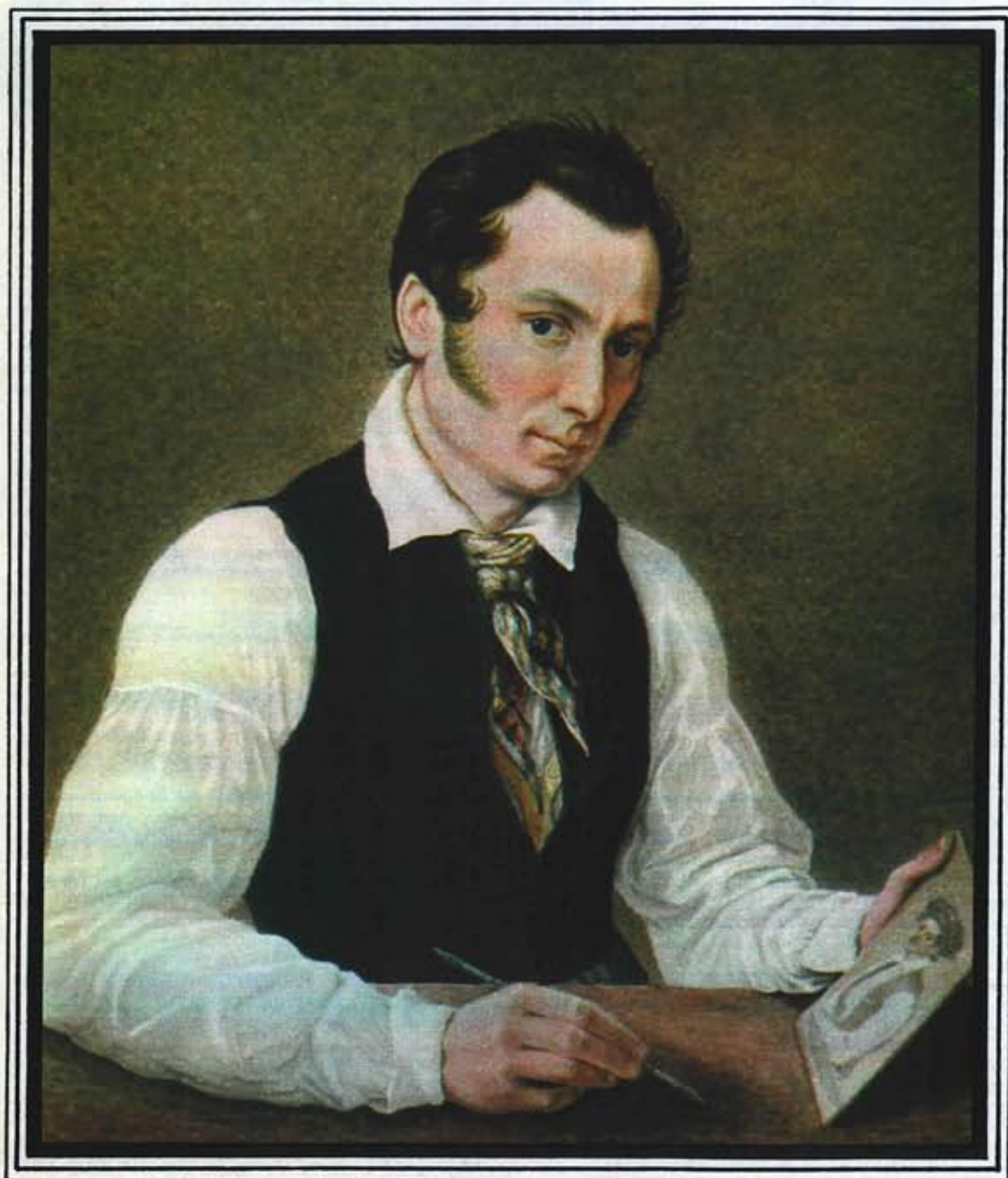
## НИКОЛАЯ БЕСТУЖЕВА

И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН,  
доктор искусствоведческих наук

**С** молодых лет, еще на школьной скамье, в наше сознание на всю жизнь вошел подвиг тех жен и невест декабристов, которые, узнав, что их мужья и женихи за участие в революционном движении осуждены на каторгу, решили не оставлять их на произвол трагической судьбы. С молодых лет мы знаем поэму Н. А. Некрасова «Русские женщины», посвященную тем, кого великий поэт назвал декабристками и о которых писал:

Пленительные образы! Едва ли  
В истории какой-нибудь страны  
Вы что-нибудь прекраснее встречали.  
Их имена забыть не должны.

НИКОЛАЙ БЕСТУЖЕВ. АВТОПОРТРЕТ. ПЕТРОВ-СКАЯ ТЮРЬМА, 1837—1839 ГОДЫ.



**АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА МУРАВЬЕВА. АКВАРЕЛЬ РАБОТЫ ПЕТЕРБУРГСКОГО ХУДОЖНИКА П. Ф. СОКОЛОВА, СДЕЛАННАЯ ИМ В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА. НА ОБОРОТЕ РУКОЙ А. Г. МУРАВЬЕВОЙ НАПИСАНО: «МОЕМУ ДОРОГОМУ НИКИТЕ». ПОРТРЕТ БЫЛ ПЕРЕДАН ЕЕ МУЖУ НИКИТЕ МУРАВЬЕВУ 5 ЯНВАРЯ 1826 ГОДА В ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ КРЕПОСТЬ И ЗАТЕМ УВЕЗЕН ИМ В СИБИРЬ. ИЗУЧАЯ ТЕХНИКУ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ, В ЧАСТНОСТИ, ПО ЭТОМУ ПОРТРЕТУ, НИКОЛАЙ БЕСТУЖЕВ ВПОСЛЕДСТВИИ САМ СТАЛ ПРЕКРАСНЫМ АКВАРЕЛИСТОМ.**

подписать, она ответила: «Я подпишу их не читая». А вот что написала Н. Д. Фонаизина, после долгих мытарств получив разрешение отправиться к мужу-декабристу, узнику Читинского острога: «Как птица, вырвавшаяся из клетки, полечу я к моему возлюбленному делить с ним бедствия и всякие скорби и соединиться с ним снова на жизнь и смерть». Но ведь каждой из этих легендарных женщин (кроме М. К. Юшневской) было тогда всего лишь двадцать с небольшим лет! Что же касается А. Г. Муравьевой, то она не только была вынуждена оставить на попечении родственников троих

АКВАРЕЛИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НИКОЛАЕМ  
БЕСТУЖЕВЫМ В ПЕТРОВСКОЙ ТЮРЬМЕ.

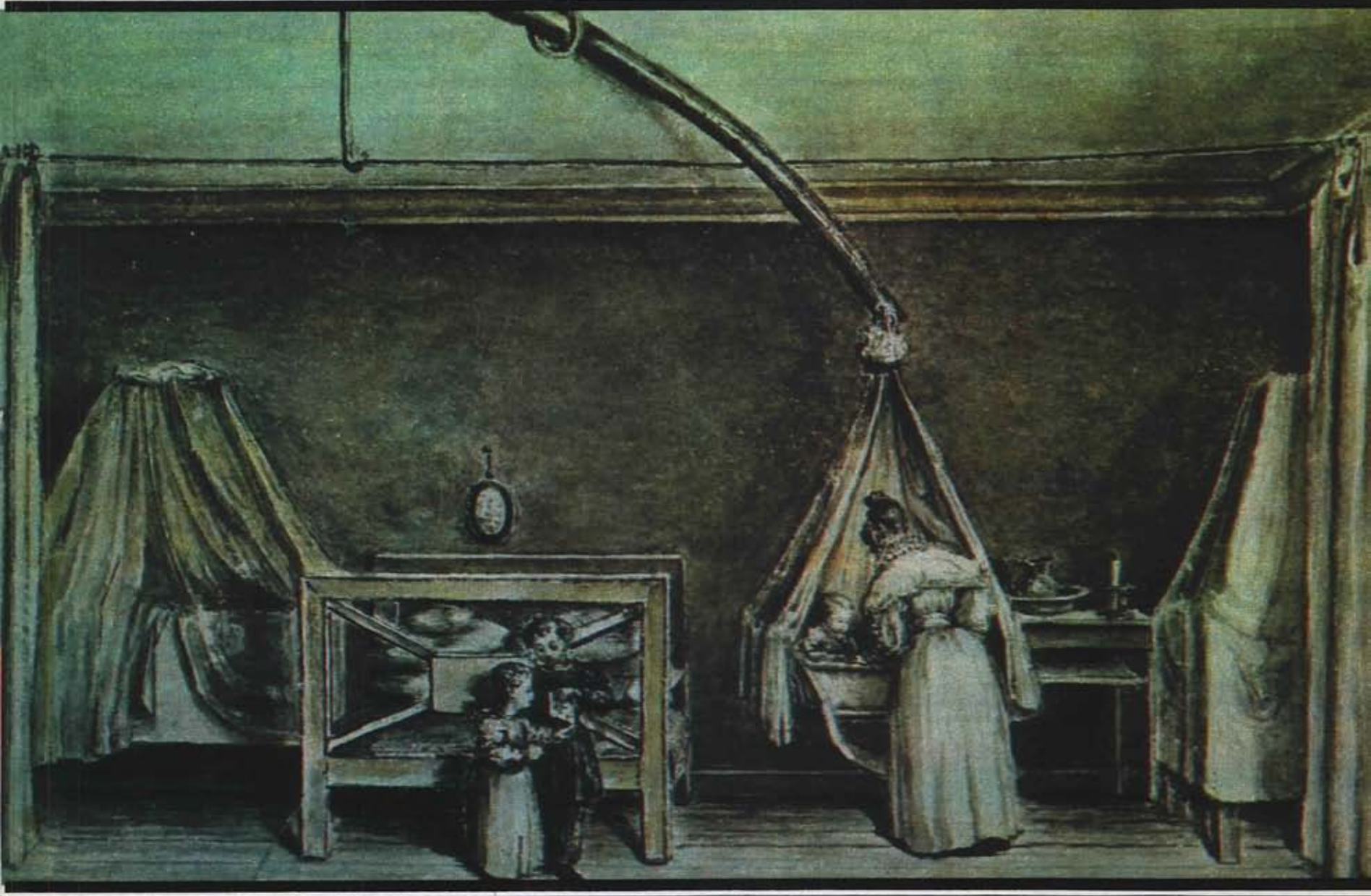


ОЛЯ АННЕНКОВА.

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА ДАВЫДОВА.

ПРАСКОВЬЯ ЕГОРОВНА АННЕНКОВА.

А. И. ДАВЫДОВА С ДЕТЬМИ В ПЕТРОВСКОМ  
ЗАВОДЕ.



малолетних детей, не только отключая от гражданских прав, подписав те страшные «условия», ей захотелось выписать тушью их текст на батистовом платке. Неизгладимое впечатление производит эта чудом сохранившаяся до нашего времени реликвия,—я отыскал ее в фонде Муравьевых, хранящемся в Центральном государственном архиве Октябрьской революции.

С глубоким благоговением произносили имена этих женщин узники Читинского, а затем Петровского казематов. Вот что писал о них декабрист А. П. Беляев: «Кто... может достойно воздать вам, чудные ангелоподобные существа! Слава и краса вашего пола! Слава страны, вас произрастившей! Слава мужей, удостоившихся такой безграничной любви и такой преданности таких чудных, идеальных жен! Вы стали поистине образцом самоотвержения, мужества, твердости при всей юности, нежности и слабости вашего пола. Да будут незабвенны имена ваши!»

Декабристки были хранительницами не только своих мужей, но всех без исключения товарищей их. С полным основанием исследователь пишет: «Если декабристы, в конце концов, добились мало-мальски сносного существования, то этим они обязаны всецело своим женам».

С душевной признательностью относился к женам своих товарищей и Николай Александрович Бестужев, которого А. И. Герцен назвал одним «из самых лучших, самых энергичных участников великого заговора».

Человек многочисленных дарований, Николай Бестужев уже в первые месяцы пребывания в Читинском остроге задумал осуществить одно дело, подобное которому никогда не предпринималось в подобной обстановке. Он решил сохранить для следующих поколений — «для истории» — облик первых русских революционеров, создать портретную галерею участников тайных обществ и декабрьского восстания, заточенных в Читинский острог, а затем переведенных в специально построенную Петровскую тюрьму. И осуществить этот свой замысел Николай Бестужев смог благодаря приехавшим в Читку женам декабристов.

Некоторые из них привезли туда с собой портреты своих родных, исполненные лучшим акварелистом того времени П. Ф. Соколовым. Эти портреты и помогли Николаю Бестужеву освоить технику акварельной живописи. А получая систематически от родных почти все необходимое для жизни в суровых условиях тогдашней Сибири, декабристки, и в первую очередь А. Г. Муравьева, выполняя просьбы Николая Бестужева, снабжали его акварельными красками и соответствующими сортами бумаги. Благодаря этому ему и удалось задуманное выполнить.

В портретной галерее, созданной Николаем Бестужевым на каторге и хранившейся у него самого, находилось 76 акварельных портретов, 74 из которых — изображения декабристов и их жен. После его кончины в 1855 году Елена Александровна Бестужева, сестра декабриста, привезла эти портреты в Москву и вскоре уступила их издателю и коллекционеру К. Т. Солдатенкову. На протяжении сорока с лишним лет они пролежали у него без движения. А когда в 1901 году К. Т. Солдатенков умер, следы этой портретной галереи затерялись. Мне посчастливилось ее отыскать. В различных местах хранения — от Кяхты до Парижа — удалось также выявить местонахождение многих из тех художественных работ Николая Бестужева, которые он дарил своим товарищам по заключению и их женам. Все это легло в основу моего исследования «Художник-декабрист Николай Бестужев», выходящего в издательстве «Изобразительное искусство».

Исполнял Бестужев и портреты детей декабристов, а в дальнейшем, после двенадцатилетнего пребывания на каторге, живя на поселении, он писал портреты их внуков, а также портреты детей своих новых друзей — тамошних жителей.

Об этих работах Николая Бестужева я и хочу впервые рассказать.

Выше уже сообщалось, что жены декабристов, отправлявшиеся к мужьям в Сибирь, были лишены права ранее родившихся детей брать с собой, а те, «которые приживутся в Сибири, поступают в казенные заводские крестьяне». Казалось бы, это должно было заставить несчастных женщин навсегда отказаться от мысли иметь детей. Тем не менее 15 марта 1829 года в Чите у А. Г. и Н. М. Муравьевых родилась дочь Нонушка, на следующий день появилась на свет Анушка Анненкова, а спустя несколько недель у Давыдовых родился сын Вася. Затем в Чите и в Петровском в тех же семьях появились еще дети — двое у Муравьевых, трое у Анненковых, трое у Давыдовых. Там же у Волконских родилось трое детей, у Фонвизиных — двое, у Трубецких — пятеро (у них воспитывался также сын А. Л. Кучевского, привлеченного по делу Астраханского тайного общества и заточенного 30 мая 1829 года в Читинский острог), у Ивашевых — двое детей, у Розенов — один ребенок. Таким образом, в семьях декабристов только за годы пребывания в Чите и в Петровском родилось двадцать четыре ребенка, не считая тех детей, что появились у них уже на поселении.

П. Е. Анненкова не без юмора вспоминала, как реагировал вначале комендант Читинского острога, генерал С. Р. Лепарский на предостережение материнства декабристок: «Нас очень забавляло, как старик, наш комендант, был смущен, когда узнал, что мы беременны, а узнал он это из наших писем, так как был обязан читать их. Мы писали своим родным, что просим прислать белья для ожидаемых нами детей. Старик возвратил нам письма и потом пришел с объяснениями. «Но

позвольте вам сказать, сударыни, что вы не имеете права быть беременными», — говорил он, запинаясь и в большом смущении. Потом прибавлял, желая успокоить нас: «Когда у вас начнутся роды, ну, тогда другое дело». И Анненкова добавляет: «Не знаю, почему ему казалось последнее более возможным, чем первое».

Появление детей имело огромное значение для декабристок, особенно для наиболее молодых — ведь с каждым годом пребывание в Чите и в Петровском становилось все более тягостным, изнурительным, беспросветным. Дети наполняли новым содержанием жизнь декабристок, внесли величайшую радость в их монотонное бытие. Об этом свидетельствует одно из дошедших до нашего времени писем М. Н. Волконской.

Надо иметь в виду, что первенец Волконской, сын Николаенка, родившийся 2 января 1826 года и перед отъездом Марии Николаевны в Сибирь оставленный у родителей, умер в двухлетнем возрасте в Петербурге, а дочь Соношка, появившаяся на свет 1 июля 1830 года в Чите, прожила всего десять дней. В полной мере счастье материнства М. Н. Волконская узнала лишь тогда, когда 10 марта 1832 года в Петровском заводе у нее родился сын Миша.

«Рождение этого ребенка, — писала она матери, — благословение неба в моей жизни; это новое существование для меня. Нужно знать, что представляло мое прошлое в Чите, чтобы оценить все счастье, которым я наслаждаюсь. Я видела Сергея только два раза в неделю; остальное время я была одна, изолированная от всех, как своим характером, так и обстоятельствами, в которых я находилась. Я проводила время в шитье и чтении до такой степени, что у меня в голове делался хаос, а когда наступили длинные зимние вечера, я проводила целые часы перед свечкой, размышляя — о чем же? — о безнадежности положения, из которого мы никогда не выйдем. Я начинала ходить взад и вперед по комнате, пока предметы, казалось, начинали вертеться вокруг меня и утомление, душевное и телесное, заставляло меня валиться с ног и делало меня несколько спокойней. Здоровье мое тоже тогда было слабо. Значит, это не заботы о Мише его разрушают. А теперь — все радость и счастье в доме. Веселые крики этого маленького ангела внушают желание жить и надеяться». Под многими из горестных строк этого письма подписались бы каждая из декабристок, выходявшая своего ребенка в Чите или Петровском.

Когда в семьях декабристов рождались дети, родственники наперебой принимались просить родителей прислать изображения малюток, начавших свое существование в таких трагических условиях. Лишь через десять лет появились дагерротипы, а в те годы изображение человека можно было получить лишь в виде портрета, исполненного художником. А поскольку из всех узников Читинской и Петровской тюрем в портретном искусстве достиг успехов один Бестужев, то именно к нему и адресовались эти просьбы. Да и сами близкие родственники декабристок, зная, что Бестужев пишет акварельные портреты, просили присылать портреты ребятишек, исполненные именно им.

Мише Волконскому едва минуло четыре месяца, когда тетки уже настойчиво просили прислать его портрет. В ответ на просьбы сестер М. Н. Волконская писала 4 августа 1832 года: «Вы просите его портрет, — это невозможно сделать ранее, чем ему исполнится год». О том же она извещала через две недели старшую сестру С. А. Раевскую: «Была ли исполнен портрет годовалого Миши Волконского — неизвестно. Но в двухлетнем возрасте он уже «позировал» Бестужеву. М. Н. Волконская, сообщая 20 апреля 1834 года из Петровского завода своей матери С. А. Раевской: «...с меня пишут портрет», — далее уведомляла ее: «После меня будет позировать Миша; нам удастся это с немалым трудом, — он не захочет посидеть на месте и двух минут. Последний портрет я пошлю той из своих сестер, которой я больше всего обещала, потому что своим обещаниям по этой части я потеряла счет». А год спустя, рассказывая в письме к тетке, Е. А. Константиновой, о своем трехлетнем сыне, М. Н. Волконская писала 28 апреля 1835 года: «Мои сестры, получившие его портрет, потрясены счастием его с нашим обожаем отцом» (речь идет о генерале Н. Н. Раевском, герое Отечественной войны 1812 года).

Ко времени отправки этого письма Мария Николаевна стала матерью и дочери Нелли (Елены). Когда девочке исполнилось два года, Мария Николаевна попросила Бестужева исполнить портрет малютки. Вот что она писала 16 января 1837 года Е. Н. Раевской, заочной крестной матери своей дочери: «Неллинька, крестница твоя, просто ангел. Эта девочка такая внимательная, добрая. Она никогда не просит ничего без «пожалуйста», благодарит за все и спрашивает разрешения на все. М. Н. Бестужев будет писать ее портрет для тебя. Боюсь, что это ему не удастся, но тебе надо будет поблагодарить его в письме. Он хороший человек, он непременно оказывает услуги всем товарищам, я очень его уважаю». Был ли исполнен им тогда портрет Нелли Волконской — неизвестно, так как в архиве Бестужевых благодарственное письмо Е. Н. Раевской отсутствует. Но оно могло и не сохраниться.

Спустя несколько месяцев, когда Мише было уже пять лет, а Нелли — два с половиной года, М. Н. Волконская вновь просит Бестужева написать их портреты, которые и посылает вместе со своим в середине 1837 года невестке, Е. П. Раевской. В архиве Волконских сохранилось письмо Е. П. Раевской, датированное 25 августа того же года, в котором она делится впечатлением, произведенным на нее этими портретами: «В Авчурине, дорогая Мари, я имела счастье

получить Ваш портрет и портреты Ваших детей, которые ждала с таким нетерпением. Ваш портрет меня огорчил, лицо носит печать страдания, и я не могла без замрачения сердца смотреть на скорбное выражение Ваших черт. Я расплакалась, и только вид Ваших детей немного меня успокоил. Думаю, что эти дорогие ангелы должны быть для Вас большим утешением; я разглядывала с живым интересом нежное личико Неллиньки и умное личико Миши. Хотела я просить моего beau frère Пашкова отвезти эти два портрета в Италию, но Александр сказал, что следует дожидаться приезда Катерины, не лишая ее удовольствия видеть их; это решение приводит меня в восторг, так как до конца сентября у меня будет время скопировать оба портрета, и я надеюсь успеть в этом, особенно в портрете Неллиньки, которая очень похожа на Нинет, но красивее. Что касается Миши, Александр находит очень большое сходство его с нашим отцом, и я уверена, что это будет Вам приятно» (в письме последовательно названы: Авчурино — имение Полторацкой, сестры Е. П. Раевской; Италия, где в то время жила мать Волконской, С. А. Раевская, с двумя дочерьми — Софьей Николаевной и Еленой Николаевной; Александр — брат М. Н. Волконской, жена которого и написала это письмо; Катерина — Екатерина Николаевна Орлова, урожденная Раевская; Нинет — дочь М. Ф. и Е. Н. Орловых).

В начале 1850 года Елена Сергеевна Волконская стала невестой Д. В. Молчанова, чиновника Главного управления Западной Сибири. Узнав об этом, Николай Бестужев написал 16 февраля ее отцу, называя себя так, как она произносила его фамилию, будучи маленькой девочкой: «...прошу сказать m-lle Nelly, что Бутусов желает ей всяческой счастия». В 1853 году у Молчановых родился сын Сережа. В связи с тем, что в начале 1855 года Елене Сергеевне понадобилось поехать с мужем в Москву, она оставила полуторгового сына у своей матери.

Случилось так, что в феврале того же года начальник корпуса жандармов в Иркутске Я. Д. Казимирский, ранее служивший плац-майором в Петровском заводе и подружившись там с некоторыми декабристами, вызвал Бестужева в Иркутск в связи с изобретением им ружейного замка простейшей конструкции. Находясь в Иркутске около полугода месяцев, Бестужев занимался там не только продвижением своего изобретения, но и получил возможность встретиться с друзьями — бывшими союзниками, жившими на поселении в различных селах вблизи этого города. Ездил он и в Уриковское, чтобы встретиться с Волконским.

Сообщив дочери 21 февраля 1855 года, что «Николай Александрович Бестужев, который только что приехал», был у них, Мария Николаевна в одном из последующих писем — от 16 марта — уведомляла ее: «Сережа вполне здоров, Бутусов пишет его портрет в данную минуту».

Два дня спустя — 18 марта — М. Н. Волконская отправляет дочери новое письмо, в котором говорит о внуке: «Он был воспитителем. Boutouzof пишет его портрет. Первый набросок был прелестен и поражаел счастием; но, стараясь сделать его более законченным в красках, он сделал из него ребенка лет четырех; глаза — его, рот тоже, но овал лица слишком удлинен и пропорции черт утеряны. Если б вы только могли видеть Сережу во время сеанса играющего с чем попало, начиная с бородавки художника; он брал затем кисточку и хотел раскрасить бородавку, он повторял все свои слова во-во, бу, му, па, да и т. д.; продолжительность сеанса его не тяготила, он смеялся и строил рожицы художнику».

Наконец, еще через два дня М. Н. Волконская в пространном письме к дочери трижды возвращается к исполненному Бестужевым портрету внука: «Сережа совсем здоров, портрет его закончен. Художник сделал его старше — лет пяти; лицо сдвинуто вытянуто, нос несколько утоплен, впрочем очень напоминает вашего дорогого малютку. Он был воспитителем во время сеансов. Бутусов говорил ему: «Дай мне твой самый сладенький пальчик», — тогда он приставлял указательные пальцы к большим и протягивал пальчики, свои две ручки художнику». Несколькими страницами далее Мария Николаевна снова пишет о портрете внука: «Художник не сумел передать цвет его блузы, этот чудесный зеленый цвет, — у него не было с собой нужной краски. Вчера вечером была у нас [Елена Александровна] Бестужева». И на следующей странице: «Чтобы забавить Сережу во время сеансов, мы заставляли кукол играть и танцевать — малоросса и красавца-паяца».

С оценкой, которую бабушка дала здесь портрету внука, С. Г. Волконский не согласился. Вот что было сказано им по этому поводу в приписке к тому же письму: «Я не разделяю мнения жены — якобы портрет изображает его более взрослым; могу сказать совершенно искренно, что и черты похожи, и физиономия, вообще это его тип, его выражение».

Возможно, что в те же недели Бестужев исполнил еще один портрет Сережи Молчанова. Предположить это можно, ознакомившись с письмом его матери, Е. С. Молчановой, к М. Н. Волконской. «Я ожидаю с большим нетерпением портрет Сережи, — писала 26 апреля 1855 года дочь Волконской матери. — Тот, что у нас, не похож более, по словам Мокшинки, а мне так хочется увидеть его таким, какой он теперь» (речь идет о М. Ф. Мокржецком, сибирском знакомом Волконских).

Значит, не только бабушку, но и мать не удовлетворил первый бестужевский портрет Сережи Молчанова. Один С. Г. Волконский одобрил эту работу художника. Но был ли исполнен второй портрет мальчика — неизвестно.

Все эти сведения о созданных изображениях Сережи и отклики его родных на эту работу Бестужева — редкий



случай, дающий возможность в какой-то степени представить себе условия, в которых он работал над детскими портретами. В цитируемых письмах М. Н. Волконской нашла отражение и ее безмерная любовь к первому внуку, казавшемуся ей, как почти каждой бабушке, самым неотразимым ребенком. Отсюда и критические замечания Марии Николаевны относительно портрета Сережи, столь решительно отвергнутые Волконским в приписке к ее письму. Сам Бестужев мельком упоминает о своей работе в письме к декабристу Г. С. Батенькову от 11 марта 1855 года из Иркутска, где сообщает, что обещал исполнить портрет внука С. Г. Волконского.

Жаль, что ни один из портретов Миши и Нелли Волконских, которых, по всем данным, Бестужев писал неоднократно в Петровском заводе, ни сделанный в Уриковском портрет Сережи, внука Волконских, по-видимому, не сохранились.

Безусловно, исполнил Николай Бестужев портрет сына Анны Васильевны Розен, родившегося в 1831 году в Петровском заводе и названного Кондратием (в честь Рылева).

Все декабристы, находившиеся в заключении, относились с чувством глубочайшего почитания к тем женам, которые решили разделить участь мужей и последовали за ними в добровольную ссылку. Все декабристы не только одаривали этих легендарных женщин вниманием и были готовы помочь им во всем необходимом, они даже принимали посильное участие в заботах о детях, там родившихся.

Сохранился трогательный рассказ А. Е. Розена, мужа Анны Васильевны, о том, каким вниманием окружили декабристы его жену и ребенка, когда их втроем власти отправили в 1832 году на поселение в глухой угол Сибири. «2-го июля понес я сына моего Кондратия в тюрьму, чтобы крестный отец его, Е. Ф. Оболенский, и товарищи благословили его», — пишет А. Е. Розен. — Младенец был одет в светло-голубую шинель, сшитую крестным отцом; он нисколько не смутился, увидев моих товарищей, обнимавших и целовавших его. Жена моя простилась со слезами; дамы наши крепко боялись за ее здоровье, за состояние, в коем она была с маленьким ребенком, в ожидании иметь скоро другого. Всех более беспокоилась о ней А. Г. Муравьева: она прислала ей складной стул дорожный, предложила тысячу вещей, уговорила при плавании через Байкал взять корову, дабы младенец во всякое время мог иметь жаркое молоко. К. П. Торсон сделал для сына морскую койку; Н. А. Бестужев сделал винты и пряжки и привесил койку на надежных ремнях к крайнему обручу от накидки колясочной, так что эта койка была лучше висеть люлькой; ребенку было хорошо лежать, матери было спокойнее; за люлькой висела занавеска, чтобы защитить от ветра».

Перед отъездом Розен на поселение Бестужев написал акварелью портреты Андрея Евгеньевича и Анны Васильевны. Не мог он не исполнить тогда и портрета их сына. Но если те два изображения сохранились до нашего времени, то изображение Кондратия, по-видимому, не уцелело.

Портреты трех детей Давыдовых — Василия, родившегося в 1829 году в Чите, Александра и Ивана, родившихся в 1831 и 1834 годах в Петровском, — Бестужев исполнил не раз. Писал он и те три их портрета, которые А. И. Давыдова послала с оказией 19 февраля 1835 года из Петровского завода дочери Марии, принадлежавшей к старшему поколению шестерых детей, рожденных в Каменке и остававшихся в России. В отправленном одновременно письме Александра Ивановича писала дочери: «Мне так грустно, так грустно, что не могу ничего хорошего тебе послать! Купить же можно здесь, но и рубля нету в доме. Васин портрет тебе посылаю, он очень похож, а Сашин и Ванечкин — сестрам, ты можешь их когда-нибудь отдать списать для себя». Ни один из этих портретов до нас не дошел.

Зато удалось обнаружить сепию, на которой запечатлена А. И. Давыдова с тремя маленькими детьми в своей комнате в Петровском. Сепия входит в состав альбома А. И. Давыдовой, полученного мною во время поисков в 1966 году во Франции реликвий русской культуры (ныне он хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР). Датировать эту сепию, судя по возрасту детей, можно тем же 1835 годом, когда Александра Ивановича отправила их портреты дочерям, жившим в Каменке. Естественно направляется вывод: поскольку те три портрета детей Давыдовых писал Николай Бестужев, то и эта сепия исполнена им же. Правда, аналогичные работы Бестужева нам неизвестны (если не считать интерьеров камер декабристов), но это вовсе не значит, что их не было вовсе. Кроме того, никто другой из декабристов, находившихся в то время в Петровском остроге, не мог так профессионально ее выполнить. И все же в данном случае авторство Бестужева остается лишь моим предположением. Хочется надеяться, что дальнейшие поиски и находки сделают это предположение бесспорным.

На переднем плане художник запечатлел Васю Давыдова с сестренкой Сашей. Они стоят у кровати и рассматривают игрушку. Слева изображена Александра Ивановна у колыбели годовалого Вани.

Весьма трогательно незатейливое убранство этой спальни. Вероятно, именно так подвешивали колыбель сибирские крестьяне: на большом изогнутом шесте, прикрепленном к потолку с помощью железного кольца, — от движения ребенка шест пружинил и раскачивал колыбель. Позади колыбели — столик, на нем таз с кружкой и свеча. Справа и слева под пологом — детские кроватки. Занавес на колыбелях, вероятно, отделял часть комнаты от другой, которая служила столовой. Думается, что так в основном выглядели в Петровском заводе и жилища других декабристов, у которых имелись дети.

Четверо детей Прасковьи Егоровны и Ивана Александровича Анненковых, рожденных в Чите и в Петровском заводе, тоже, конечно, «позировали» Бестужеву неоднократно.

Появившись на свет в трудных условиях, дети декабристов нередко погибали. Такова была судьба Аннушки, первой дочери Анненковых. «Сего же месяца похоронили у нас дочь Анненковой, которая родилась здесь и была уже на пятом году», — писала М. К. Юшневская 30 июня 1833 года из Петровского завода деверю.

Портрета Аннушки Анненковой, исполненного Бестужевым, не существует. Но зато в недавние годы был обнаружен написанный им портрет ее сестры Оли, появившейся на свет 19 мая 1830 года в Петровском заводе.

Вот пути, по которым эта акварель спустилась почти 140 лет после ее создания дошла до нас. Анненковы получили ее от Бестужева, а после их смерти — в 1876 и 1878 годах — она перешла к их дочери, изображенной на портрете. В 1891 году, после смерти Ольги Ивановны, этот портрет поступил к ее дочери Елене Константиновне. Она родилась в 1855 году, а скончалась около 1936 года в Ленинграде, в возрасте восьмидесяти лет. Хранившийся у нее детский портрет матери стал собственностью доктора Гинце, потомка известного русского акварелиста середины прошлого века Владимира Гау. В начале 1960-х годов благодаря счастливому стечению обстоятельств портрет Оли Анненковой обнаружил ленинградский литературовед М. Д. Ромм.

На портрете Оли Анненковой имеется лишь подпись художника: «N. Bestougeff». Выполнена была акварель, по-видимому, незадолго до того, как Анненковых 20 августа 1836 года из Петровского завода отправили на поселение. В то время их дочери было немногим больше шести лет. Такой она и выглядит на дошедшем до нас портрете. Выполнена эта акварель в блекло-сероватых и коричневатых тонах. На Оле Анненковой нарядное белое платье с фижмами, ее плечики оголены, косички нависают над ушами, в которые вдеты сережки. Голубой цвет глаз девочки хорошо гармонирует с нежно-розовой окраской губ. На голове у нее прическа — пышный пучок волос с розоватым бантом, подоткнутый спереди коричневым гребнем.

В детском личике еще ничто не предвещает, что спустя немного лет обаянием, сердечностью и красотой эта дочь декабриста будет восхищать всех знавших ее. Так, один из мемуаристов запечатлел в своих воспоминаниях «высокую, ослепительную блондинку Ольгу Анненкову». Незабываемое впечатление произвела она на двадцативосьмилетнего Федора Михайловича Достоевского, причем в самую тяжелую годину его жизни.

Впервые Достоевский увидел мать и дочь Анненковых в январе 1850 года в Тобольском остроге, куда после суда над петрашевцами и гражданской казни в Петербурге по пути в Омскую каторжную тюрьму он был доставлен одновременно с другими осужденными. Упрямый смотрителя Тобольского острога разрешить свидание с «государственными преступниками», Прасковьи Егоровны и Ольги Ивановны Анненковы одарили арестованных вниманием, деньгами. «Я всегда буду помнить», — писал позже Достоевский жене декабриста, — что с самого прибытия моего в Сибирь, вы и все превосходное семейство ваше принимали и во мне, и в товарищах моих по несчастью полное и искреннее участие. Я не могу вспомнить об этом без особенного утешительного чувства и, кажется, никогда не забуду».

Слушало так, что в 1852 году Ольга Анненкова стала женой Константина Ивановича Иванова, состоявшего в должности адъютанта омского генерал-губернатора, ведавшего всеми работами в крепости. С того времени Иванов, в дальнейшем дослужившийся до чина генерал-лейтенанта, оказывал всяческое содействие писателю-арестанту. А когда по окончании четырехлетних каторжных работ Достоевский был зачислен рядовым в войска отдельного Сибирского корпуса, он 22 февраля 1854 года отправил из Омска письмо брату, в котором, подробно рассказывая о своем пребывании в тюрьме, в частности, сообщал: «Омск гадкий городишко. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой бураны. Природы я не видал. Городишко грязный, военный. Если б не нашел здесь людей, я бы погубил совершенно. К. И. Иванов был мне как брат родной. Он сделал для меня все, что мог. Я должен ему деньги. Если он будет в Петербурге, благодари его. Я должен ему рублей 25 серебром. Но чем заплатить за это радушие, всегладшнюю готовность исполнить всякую просьбу, внимание и заботливость, как о родном брате... Что за семейство у него! Какая жена! Это молодая дама, дочь декабриста Анненкова. Что за сердце, что за душа, и сколько они вытерпели!»

В те дни Ивановы пригласили Достоевского, вчерашнего «государственного преступника» и сегодняшнего рядового, пожить в их доме. На протяжении месяца он вместе с поэтом-петрашевцем С. Ф. Дуровым до самого их отправления солдатами по месту назначения в Семипалатинск и Петропавловск гостил у Ивановых. То было забываемой отрадой для обоих писателей в самое тяжелое время их изгнания.

Достоевский никогда не забывал сделанное ему добро. Долго не получая сведений о своих старых друзьях, он 18 октября 1855 года пишет П. Е. Анненковой, спрашивая о ее дочери и зяте: «С самого приезда моего в Семипалатинск я не получал почти никаких известий о Константине Ивановиче и многоуважаемой Ольге Ивановне, знакомство с которой будет всегда одним из лучших воспоминаний моей жизни. Полтора года назад, когда я и Дуров вышли из каторги, мы поехали почти целый месяц в их доме. Вы поймете, какое

впечатление должно было оставить такое знакомство в человеке, который уже четыре года, по выражению моих прежних товарищей каторжных, был как лопотный отрезанный, как в землю закопанный. Ольга Ивановна протянула мне руку как родная сестра, и впечатление этой прекрасной, чистой души, возвышенной и благородной, останется самым светлым и ясным на всю мою жизнь. Дай бог ей много, много счастья, — счастья в ней самой и счастья в тех, кто ей милы. Я бы очень желал узнать что-нибудь об ней. Мне кажется, что такие прекрасные души, как ее, должны быть счастливы; несчастны только злые. Мне кажется, что счастье в светлом взгляде на жизнь и в безупречности сердца, а не во внешнем. Так ли? Я уверен, что вы это глубоко понимаете, и потому так вам и пишу... Я с благоговением вспоминаю о вас и всех ваших...»

В позднейшие годы Достоевский встречался с супругами Ивановыми в Петербурге. Об этом косвенно свидетельствует запись петрашевца Н. А. Момбелли, датированная 22 октября 1872 года, сохранившаяся в бумагах писателя: «Ольга Ивановна Иванова, урожденная Анненкова, очень жалеет возобновить с Вами, Федор Михайлович, знакомство, взяла у меня Ваш адрес и, вероятно, в скором времени будет у Вас...» Достоевский был тогда в Петербурге, и его встреча с дочерью декабриста, несомненно, состоялась. Более того: я уверен, что под влиянием этой встречи Достоевский, работавший в ту пору над статьями для первого выпуска «Дневника писателя», который начал печататься с январского номера журнала «Гражданин» за 1873 год, ввел в одну из этих статей свои воспоминания о встрече с декабристками в Тобольском остроге.

К тому времени Достоевский уже был автором известных произведений «Униженные и оскорбленные», «Записки из Мертвого дома», «Преступление и наказание», «Идиот», двух частей «Бесов». А вот что он вспоминал о той незабываемой встрече с декабристками, записал и напечатал в своем «Дневнике писателя»: «... в Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалец, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь...»

Встречи с Ивановыми были, по-видимому, у Достоевского и в дальнейшем — такой вывод можно сделать потому, что в свою записную книжку 1875 года он внес адрес: «Конст[антин] Ива[нович] Иванов, на Поварской (или Поварской переулке) близ Владимирской, дом № 13».

Говоря об Ольге Ивановне, следует отметить, что еще в начале шестидесятых годов она взяла на себя труд записать воспоминания своей матери, которые в дальнейшем заняли весьма значительное место в мемуарной литературе о жизни декабристов на каторге. П. Е. Анненкова рассказывала дочери на своем родном языке, французском, о том, что ей вспомнилось, а Ольга Ивановна записывала за нею, тут же переводя на русский язык.

В дальнейшем она решила написать собственные воспоминания, но, к сожалению, успела завершить всего две главы, но и они, по словам историков, «крайне интересны, благодаря мастерским характеристикам некоторых декабристов и новому документальному материалу, относящемуся к жизни декабристов на поселении». В полной мере дадут представление о высоких человеческих качествах Ольги Ивановны Анненковой-Ивановой начальные фразы ее мемуаров: «Первые мои воспоминания — тюрьма и оковы. Но несмотря на всю суровость этих воспоминаний, они лучшие и самые отрадные в моей жизни».

Такой была дочь Анненковых, портрет которой в шестилетнем возрасте исполнил Бестужев в Петровском заводе.

Весьма возможно, что Бестужев писал и портреты сыновей Анненковых, родившихся в Петровском заводе. — Владимира, появившегося на свет 18 октября 1831 года, и Ивана — 8 ноября 1835 года. А так как из Петровского завода семья Анненковых выехала на поселение лишь 20 августа 1836 года, то не исключено, что бестужевские портреты этих мальчиков существовали, но утрачены.

Какие-то портреты детей Анненковых оказались у И. И. Луцина в годы его пребывания на поселении в Ялуторовске. После того как он отправил эти портреты И. А. Анненкову, тот написал ему: «Дорогой Иван Иванович, моя жена предполагала лично вас поблагодарить за вашу чрезвычайную любезность, с какой вы доставили так быстро портреты наших детей, но только что прислали за ней от Вольфа<sup>1</sup>, который в данный момент чрезвычайно плох... Я получаю аккуратно письма от сына Ивана: кажется, он хорошо начал свою службу. Он красивый юноша; портрет его не очень удался, портрет же Оленьки весьма схож». О каких портретах идет речь в этом письме, неизвестно. Возможно все же, что это были работы Бестужева, исполненные или в Петровском заводе, или на поселении.

<sup>1</sup> Речь идет о декабристе Ф. Б. Вольфе, отбывавшем каторгу в Чите и в Петровском, а затем находившемся на поселении, где и умер.

Окончание следует.



**В**ыходцев скучал на скамейке возле своего дома. Кириллов присел рядом, и они немного поговорили о погоде, цветах и болезнях. Степан Николаевич давно уже заметил, что кассир любит говорить о болезнях, причем преимущественно о своих. Когда эта тема иссякла, Кириллов спросил напрямик:

— Евгений Васильевич, вы не держали в сейфе посторонних предметов?

— То есть как? — удивился он. — Что значит посторонних?

— Ну, скажем, коробка с конфетами или фотография. Да мало ли что...

— Держал, — сказал он, полез в карман и вынул флакончик с таблетками. — Валидол, — пояснил Выходцев, засовывая флакончик в другой карман. Обиженно выпятил губы и заметил, что он лично не решился бы назвать лекарство посторонним предметом. Кириллов на это замечание не отреагировал, поскольку дань болезням уже была отдана, и перевел беседу в другое русло.

Кириллова интересовала женщина со шрамом и даже пока не столько сама она, сколько противоречивые показания о ней. Тут получалась форменная карусель. Предположение о том, что были две женщины с одинаковой броской приметой, что обе они жили в начале пятидесятых годов в Баку, что одна из них помогала Нифонтову ухаживать за ребенком, а вторая именно в это время умудрилась попасться на глаза Выходцеву, — предположение это вызывало у него внутреннее сопротивление. Случаются совпадения, но от этого отдавало какой-то искусственностью, что ли. Настораживал и тот факт, что Хусаинову до сих пор не удалось установить личность этой женщины. Интуитивно Кириллов чувствовал, что, взломав этот замок, он откроет

Продолжение. Начало в №№ 7—10.

# ВЫСТРЕЛ

Анатолий ЖАРЕНОВ

ПОВЕСТЬ

# ИЗ ПРОШЛОГО

дверь и увидит нечто такое, что позволит ему определиться, а может быть, даже понять, почему, собственно, возникло темное дело, в котором так причудливо слышлось прошлое с настоящим.

Но вся загвоздка состояла в том, что у него не было под руками инструмента, который бы годился, чтобы вскрыть этот замок. Проще простого было бы обвинить Нифонтова во лжи. А вот доказать, что он лжет, было нельзя, не располагая Кириллов такими доказательствами. Смуцало его и поведение кассира, который после той достопамятной встречи с Андреем Сыльчем за бутылкой коньяка вдруг пошел на попятную и стал открещиваться от слов, произнесенных им двадцать пять лет назад. Тогда он опознал в женщине со шрамом Анну Тимофеевну Спицыну. Сейчас он стал в этом сомневаться.

— Но тогда-то у вас сомнений не было? — спросил Степан Кириллович, выслушав длинную тираду о годах, которые подшучивают над памятью.

Евгений Васильевич горестно покачал головой.

— Тогда не было.

— При каких обстоятельствах произошел ваш тогдашний разговор? Вы ведь, насколько мне известно, в те годы еще не работали на сушильном заводе.

Да, он поступил на завод в пятьдесят шестом. А разговор о женщине со шрамом состоялся не в пятьдесят первом, не в пятьдесят втором. Тогда как раз Выходцев почувствовал, что его аллергически-генетическое заболевание стало обостряться. Асфальт... Он задыхался не только от запаха асфальта, но даже один вид асфальтированной поверхности вызывал приступы удушья. Он уехал из Нальска по совету врачей и поселился в Нылке. В это время умер его отец, дом перешел к супругам Выходцевым. Годы три он нигде не работал, чувствовал себя отвратительно, потом устроился на сушильный.

А в пятьдесят втором, да, пожалуй, это было именно в пятьдесят втором, он ехал из Баку в Нальск и завернул в Нылку. В Баку он был проездом, даже не покидал вокзала. Так вот, летом пятьдесят второго, буквально в день приезда в Нылку, Выходцев встретил на улице Андрея Сыльча. Они поздоровались и разговорились. Выходцев еще был под впечатлением видения, мелькнувшего перед глазами на бакинском перроне, и поэтому сказал: «А знаете, кого я видел?» Андрей Сыльч и тогда употреблял свое любимое «невозможно представить». И именно так и выразился. По Нылке, конечно, пронесся слух: «Ирод объявился». К Выходцеву даже заходил побеседовать вежливый молодой человек «из органов», как понял кассир. Но тем дело и кончилось, потому что ничего существенного Выходцев к своему рассказу добавить не смог: видел, и все.

— Теперь же не знаю, что и подумать, — пожаловался он. А Кириллов не знал, что подумать об Андрее Сыльче, который вроде бы ни с того ни с сего предложил кассиру отречься от своих прежних показаний. Эта путаница и упорное нежелание заинтересованных лиц объяснить свое поведение наводило на размышления о том, что с этой женщиной необходимо разобраться как можно быстрее. Но зацепки не было: Хусаинов молчал, а предпринять что-нибудь на месте не представлялось возможным.

Временами Кирилловым овладевало какое-то тихое отчаяние. Он улавливал внутреннюю логику событий — прошлых и настоящих. Он о многом догадывался, но он не мог ничего доказать.

Штормы, сотрясающие человеческое общество, — революции и войны — вздымают не только валы, они выбрасывают на берег и мусор, и пену, и брызги. Купец Рузаев, захлестнутый волной Октябрьской революции, был выдернут из привычной жизни и, ошеломленный, не понимающий ничего, но надеющийся, что все еще образуется, бросился в Нылку, рассчитывая отсидеться в тихом месте, а заодно и спасти кое-какое движимое имущество. Отсидеться не пришлось. Но драгоценности ему, видимо, удалось надежно припрятать на Мызе. И вот в это время с купцом случилась что-то такое, что породило легенду о черном памятнике и звонке с того света, что-то такое, что вымело мадам Ивонну из усадьбы. То, что произошло потом, в общем-то понять было нетрудно. Мадам Ивонна осела в Нальске, ей нужно было во что бы то ни стало выручить драгоценности. Но в доме на Мызе жили люди, он не пустовал ни дня, ни часа. Затем туда вселился детдом. До сорок первого, до начала эвакуации, мадам Ивонна кружила около бывшего своего владения, не имея возможности подступиться к тайнику. Такая возможность появилась в конце июля сорок первого года. И опять здесь случилось что-то. Но что? Можно было только догадываться, что на этот раз мадам удалось вскрыть тайник. Кто ей помог, оставалось неизвестным. Может быть, Анотина бабка, может, кто-нибудь еще. Кто-то, конечно, был. Кто-то ведь убил Мямлину. А в сорок

первом погибли дети. Их просто принесли в жертву золотому тельцу, их просто бросили на лесной дороге...

Просто бросили...

Вскоре после войны мадам Ивонна появилась в Баку. Через несколько лет возникло дело валютчиков.

Так Кириллов представлял себе ход событий. Но сами события и люди, за ними стоящие, были ему не видны. Прошлое скрывалось за плотной пеленой тумана, а в настоящем...

В настоящем предстоял ужин у Миши Вострикова.

Зачем в тот вечер Славка Леснев пошел к Люське? Может, все повернулось бы иначе. Может, завтра они стали бы друзьями и другой получил бы разговор. Может быть...

Он пошел к ней. Его распирали радость, и он не сразу заметил, что Люська и глядеть на него не хочет. Когда он пришел, Люська жарила яичницу. Она даже не подняла глаз от сковородки, словно это и не сковородка была, а невеста какая ценность.

— Что с тобой? — спросил Славка.

— Ничего, — сказала она как-то уж слишком спокойно, по-прежнему не глядя на него.

— А все-таки?

— Ты хочешь это знать? — холодно осведомилась она.

— Разумеется. Может, я сумею помочь...

— Ты, по-моему, уже помог, — сказала она, снимая сковородку с огня. — Но я тебя не виню. Ты такой же, как и все. И камень, который ты бросил в папу, не крупнее других.

— Я?.. Камень?..

Так вот что вползло между ними! Подозрение. Сначала он подозревал ее в том, что она... А в чем, собственно, он подозревал? Ему просто не понравилась, что она говорила со следователем о нем... Теперь она... Какой-то камень... Когда же это он бросил камень в ее папу? В папу, который, возможно, убил Сашку...

— Ты только не оправдывайся, — сказала Люська. — Помнишь, мы лежали у колодца, и ты сказал, что следователя интересует мое происхождение. И тогда ничего не поняла...

— Я и сейчас этого не понимаю. И если ты вообразила...

— Откуда следователю стало известно, что в нашем доме нет фотографии моей мамы?

— Да ты что?

— Ничего. Вчера я говорила с папой и теперь знаю все. А ты поступил, как...

— Договаривай, что же ты замолчала...

— Как обыватель, — сказала она. — Зачем ты пришел ко мне, к дочери убийцы? Ты ведь веришь всему, что болтают...

— Люська, послушай, — начал было он, но слова вдрог застряли в горле. Он хотел рассказать ей обо всем, что произошло, хотел доказать, что он не обыватель, что все так по-идиотски сложилось, хотел что-то объяснить... И, может быть, ему удалось бы объяснить ей то, чего он и сам-то хорошо не понимал, может, удалось бы стряхнуть паутину, облепившую их, паутину, в которой они оба беспомощно барахтались... Может быть, это удалось бы ему, если бы он заговорил. Но он молчал, он растерял все слова, а Люська смотрела на него холодными глазами и тоже молчала. А когда молчание стало уже невыносимым, она сказала:

— Что же ты стоишь? Уходи...

И он ушел. Вышел на улицу и медленно побрел к центру Нылки. Постоял у клуба с парнями, о чем-то поговорил, долго и сосредоточенно изучал афишу кино, но так и не запомнил названия фильма. Все, что происходило вокруг, было похоже на странный, дурной сон. Этого не должно было быть, но это было. Был Чуриков, был его отец, была Люська, и был ее отец... Не было только Сашки, который заварил всю эту кашу... Пуля, убившая Сашку, рикошетом отскочила в них с Люськой. Она сказала, что старик Нифонтов признался ей в чем-то. Неужели это ее отец застрелил Сашку? Девочка с тайной... Девочка не хочет верить, что ее отец — убийца. А он вот поверил было Чурикову, поверил сразу, безоговорочно...

Клуб остался далеко позади... Ему казалось, что он идет без цели, просто бродит по улицам наедине со своими путанными размышлениями. Казалось... На самом-то деле цель была. Он не думал о ней, он гнал эту мысль, но он знал, чего ищет... Он искал встречи с Чуриковым, он обходил стороной улицы, где его наверняка не могло быть, он ходил и ходил по тем, где надеялся его встретить.

И встретил.

Увидел запыленную нездоровым жиром рожу там, где ей положено было быть. Чуриков выполз из магазина. В руках у него была авоська, из которой торчало темное горлышко посуды, ласково прозванной пьяницами «огнетушителем».

Славка подождал, пока Чуриков поравнялся с ним, и спросил:

— Помыться не хочешь, Чуриков?

Он не понял. Тогда Славка сказал:

— Значит, считаешь, что понадобится ванночка? Так, что ли?

— Но-но, — прохрипел Чуриков, отступая и загрохиваясь авоськой.

И тогда Славка его ударил. Он вложил в этот удар все, что накопилось в нем с утра. Он, наверное, ограничился бы этим ударом, если бы этот пьянчужка не стал защищаться. Плюнул бы и ушел. Но Чуриков бросил авоську, подхватил бутылку и запустил в Славку. Бутылка попала в грудь. Что-то хрустнуло, у Славки перехватило дыхание, на мгновение потемнело в глазах. И это решило все.

Анатомия человеческого тела для студента-медика открытая книга. Чуриковское тело в этом смысле не составляло исключения, болевые точки у Чурикова находились в тех местах, где им положено было быть. «За Анечку», — сказал Славка, направляя удар в челюсть. «За ванночку». — И его кулак обрушился на чуриковскую голову.

Потом Леснев-младший долго плавал в каком-то красном тумане, выпрыгнуть из которого ему удалось только тогда, когда он оказался в квартире участкового инспектора. Славка сидел на стуле. А перед ним стоял Кириллов. На столе лапками кверху лежала жареная утка. Из глубины комнаты печально смотрела жена участкового. Сам он говорил Кириллову:

— Насилу оторвал... Чуриков — в больнице... Состояние скверное... Ничего не слышит, на вопросы не отвечает...

— Синдром оглушенности, — сказала жена участкового из угла.

Кириллов смотрел задумчиво. Потом спросил:

— Намерены объясниться, студент?

— А зачем? — спросил Славка, рассматривая свои руки. Суставы пальцев были разбиты, но боли он еще не чувствовал.

— Вы изувечили человека, — сказал Кириллов хмуро.

— Он заслужил.

Кириллов переглянулся с участковым.

— Все это, — сказал он, вздохнув, — несомненно, сыплется из одного мешка. Отрыжка. Что же вы съели, студент, хотел бы я знать?

Что он съел? Сплетню, а на десерт получил «обывателя». Но не рассказывать же об этом Кириллову... «Синдром оглушенности». Как иногда все странно выходит...

Он не ответил на вопрос следователя, только вяло поинтересовался:

— Меня арестовали?

Кириллов усмехнулся и сказал:

— В настоящий момент — нет. Но суда вам не избежать.

— Факт, — подтвердил участковый, усиленно массируя скулу. Под глазом у него расплывалось сине-зеленое пятно. Славка опустил взгляд и проворкотал:

— Извините, Михаил Савельевич, я не хотел...

— А ты знаешь, Леснев, что это значит — сопротивление при задержании? — проворчал участковый. — Подожди, узнаешь... За что избил Чурикова?

— Знает, за что...

— Мы тоже догадываемся, — сказал Кириллов. — Но неужели вы не понимаете, насколько все, что вы сотворили, глупо и бессмысленно?

— Может быть, — равнодушно ответил Славка. Какое-то безразличие охватило его. Хотелось уйти, лечь в постель и ни о чем не думать — ни о Люське, которая прогнала его, ни о Чурикове, ни о тюрьме, которая, видимо, была ему обеспечена...

«Синдром оглушенности».

— Ладно, — сказал Кириллов. — Идите пока, а завтра подойдите ко мне.

— Во сколько?

— Часов в десять.

Семен Спицын пришел к Кириллову в гостиный вечером. Дважды стукнув костяшками согнутых пальцев в дверь номера, он вошел и, густо откашлявшись, произнес: «Здравия желаю».

С полдня шел дождь — нудный, монотонный, спорный. В приоткрытое окно тянуло сыростью. Семен потоптался у двери, снял потемневший от воды брезентовый дождевик, попытался пристроить его на вешалку, но плащ сваливался, и Семен равнодушно пнул его сапогом в угол. Потом снял шляпу с обильными полями, ладонями пригладил волосы и уселся на стул, упершись толстыми руками в колени. Скользящим безразличным взглядом по комнате и проговорил:

— Вот так, значит.

— В каком смысле? — полюбопытствовал Кириллов.

Семен долго молчал и, наконец, объяснил свое появление:

— Вспомнил я один случай. Разговор у нас был с Александром. Может, он вам и без интересу. Но вот вспомнил...

И Семен Спицын рассказал, что вскоре после того, как Анята познакомилась с Мямлиным, пришел он, Семен, как-то после полудня домой... «Ну, с маленькой». Кириллов с сомнением глянул на него, подумав: «Не с маленькой ты пришел. Вон какой—руки, как лопаты, да и видел я, с чем ты приходишь». Но ничего не сказал, ждал, что будет дальше. А дальше Анятин отец рассказал, что в тот вечер в их доме был гость—Александр.

— Пил он мало. Так, для блезиру. Кто из нас про Григория тогда помянул, не скажу. Но разговор был. Был разговор. Рассказал я ему, как Григорий мамашу мою любил. Мы ведь с ним вместе росли. И вспомнилось мне...

Степан смотрел в угол, туда, где лежал плащ. С него уже натекла лужа. Но Степан смотрел в одну точку, словно не видел ни плаща, ни лужи, ни самой комнаты.

— Да, вспомнилось мне,—повторил Спицын.—Очень он, Григорий, любил у мамаша на руках сидеть, а мамаша медальон носила, так он им все играл. Заберется на руки и ну вертеть—и к глазам и к уху поднесет. Пробовали отбирать—обкричатся, бывало. Мамаша все боялась, что порвет цепочку.

Вот оно! Оно?... Кириллов слушал, скучным голосом задавал какие-то вопросы, и только чуть сузившиеся зрачки выдавали напряженную работу мысли.

Семен рассказал, что на тонкой серебряной цепочке Анна Тимофеевна носила медальон с фотографией мужа. Снимала она его, только когда ложилась спать да в бане.

Толстые руки Семена по-прежнему упирались в колени. Взгляд был неподвижен. Наконец, он отвел его от дождевика, посмотрел в лицо Кириллову и ни с того ни с сего спросил:

— Ну, так и что?

Кириллов не ответил. Да и не входило в его планы отвечать на вопросы. Он предпочитал задавать их. И, прикинув время беседы Семена с Мямлиным (она была в начале июля) и «психологического эксперимента» с Гришей-дурачком, проведенного недели позднее, Степан Николаевич сказал себе «стоп», поблагодарил Семена Спицына за содержательную беседу, учтиво осведомился, как здоровье Аняты, и проводил гостя до лестницы.

Три дня назад Кириллов был у Спицыных. Они с полчаса беседовали с Анятой о разных разностях. Степан Николаевич интересовался, много ли молодежи живет на Мызе, кто где работает, куда ходят по вечерам, кроме Нылкинского Дома культуры, кто чем увлекается. В это время и появился Семен.

— Здравия желаем...—прогудел он тогда от двери и, не задерживаясь в большой комнате с двумя комодами—красным и черным,—протопал в кухню. Там он долго и шумно мылся, кашлял и фыркал. По всему видно было: выходить к гостю он не торопился.

Появился Семен из-за желто-коричневой шторы, которой был завешен дверной проем в кухню, неожиданно. В правой руке была зажата бутылка со «Столичной», в левой—две стопки. Он молча поставил их на стол. Взглянув сначала на дочь, потом на следователя, одним ловким движением сорвал с бутылки пробку и неторопливо налил в стопки. Затем так же молча и неторопливо одну стопку пододвинул Кириллову, а вторую вылил себе в рот и сразу же снова наполнил. Но пить не стал. Тяжелым, немигающим взглядом долго смотрел в рюмку. Потом, облокотившись на стол, перевел взгляд на Кириллова и произнес:

— Ну, так и что?

И, глядя в эти черные, немигающие, сумрачные глаза, Степан Николаевич вдруг решил рассказать Семену о мямлинском эксперименте с Гришей-дурачком. Аняты в комнате не было. Увидев отца с бутылкой в руках, она ушла в кухню. Слышно было, как там несколько раз хлопнула дверь холодильника.

Семен слушал следователя, по-прежнему глядя в рюмку. Потом вышил, крепко вытер губы ладонью и сказал:

— Вон, значит, что...

В комнату вошла с тарелками Анята и, расставив их, снова ушла. Кириллову показалось, что девушка намеренно оставляет их вдвоем. А может, просто не хочет продолжать разговор со следователем.

Рассказывая Семену о мямлинском эксперименте, Кириллов, собственно, ничем не рисковал. Ведь об играх Гриши-дурачка с веревочкой знала вся Мыза. Но вот почему заинтересовался ими Мямлин, это был вопрос.

— Вон, значит, что...—повторил Семен в тот вечер. И больше ничего не сказал. А теперь вот пришел. Вспомнил свой разговор с Мямлиным и пришел. Может, принес ответ на вопрос: почему

Мямлин заинтересовался играми Гриши-дурачка? Конечно, если он—Семен—говорил правду. Но ведь не только этот ответ принес Семен Спицын. Если принес. Теперь с новой силой зазвучали другие вопросы: например, почему Гришу так тянет к ямкам? И где искать ответ на этот вопрос? Об этом Семен ничего не сказал. Не хотел? Не знал? И что же еще он знал, Семен Спицын... А может быть, он причастен к делу... Ведь намекал же на Семена кассир Выходцев. Прямо, конечно, ничего не сказал. Но явно подводил следователя своими намеками и умолчаниями к мысли о причастности Семена Спицына к убийству Мямлина. Так кто же лжет, кто говорит правду и где она, эта правда?..

Все они тут друг друга знают. Про отцов и дедов, если их не знали, слышаны. Знают, кто с кем дружит, знают, какой кусок мяса у соседа в горшке варится... Знают. И рассказывают. Но вот рассказал Семен Спицын... А как проверить? Мямлина нет, от Гриши-дурачка почти столько же узнаешь. Выходцев как будто и откровенен, но из его показаний тоже немного возьмешь. Впрочем... И тут Кириллов взглянул на все, о чем размышлял эти полчаса, после того, как ушел Семен Спицын, под другим углом. Взглянул, и увиделось ему нечто. Нет, пока еще не разгадка...

Назначая время Лесневу, Кириллов, конечно, не знал, что сообщает колесу следствия такой сильный толчок, о каком можно было только мечтать. С избинением Чурикова тут не было никакой связи. Степан Николаевич не мудрствовал особо, допрашивая утром студента об обстоятельствах происшествия. Причины были ясны. Было известно и про ванночку и про то, куда делись отходы от этой самой ванночки. Миша давно установил, что обрезки трубок были сброшены Семеном Спицыным в лесочке, примыкавшем к забору сушильного завода, и мирно лежали там с самой весны, пока ими не воспользовался преступник. Было известно и то, что Андрея Силыча в ночь убийства Мямлина видели возле клуба. Однако спрашивать Андрея Силыча о том, что он там делал, было преждевременным. Он мог сказать что угодно, кроме правды, он мог сказать и правду, но ее нечем было ни подтвердить, ни опровергнуть. На помощь сына тоже не приходилось возлагать особых надежд: родная кровь. Но скорее всего студент и не знал ничего, он просто руководствовался формулой, гласившей, что жена Цезаря выше подозрений.

— Да, Леснев, натворили вы...—сказал Степан Николаевич, когда последний лист протокола был подписан.

Славка молчал. Он был подавлен, растерян и даже не старался скрыть обуревавшие его чувства за напускной бравадой. Что-то сломалось в нем. «Осознал»,—сказал вчера Миша Востриков, и было непонятно, иронизировал он или говорил всерьез. Мишу иногда трудновато понять. До конца он ясен, наверное, только Наталье Ивановне. А Кириллов вообще чуть было не отнес его к той категории людей, которые хорошо говорят лишь о покойниках, да и то через одного. Сомневающийся человек...

Почему Кириллов вдруг подумал о Мише, он и сам не знал. Впрочем, это еще можно было как-нибудь объяснить. Но вот почему сразу вслед за этой мыслью вытятился из ящика стола неоконченную рукопись Мямлина, он, сколько потом ни раздумывал, так и не смог понять. Странно все-таки устроен наш мыслительный аппарат. Ты о чем-то говоришь, что-то делаешь, а откуда-то из подсознания неожиданно выползает и начинает обретать четкую форму мысль, которая, казалось, никак не могла вытечь из того, что ей только-только предшествовало.

Была, конечно, тут какая-то ассоциативная связь. Но не в ней дело, а в мысли, которая потащила за собой длинную цепь рассуждений и привела в конце концов к разгадке.

Позднее, когда Степан Николаевич вновь и вновь перебирал в памяти все происшедшее, он вынужден был признаться себе: да, я не гений... Тот додумался бы до этого раньше. Гений спросил бы: а что, собственно, писал Мямлин? Историю поселка? И ответил бы: да.

О том, что Мямлин писал историю поселка, свидетельствует, во-первых, текст рукописи, найденной в чемодане, а во-вторых, обширная переписка Мямлина с архивами, музеями и частными лицами. Переписка эта сохранилась, и вы, товарищ Кириллов, ее читали. Вы вникали в характер ответов, которые получал Мямлин, вы хотели уловить какие-то намеки на то, что Мямлин занимали вопросы, связанные с эвакуацией детского дома. Вы таких намеков не уловили. И вы подумали, что преступник изъял часть переписки, а заодно и уничтожил тот экземпляр рукописи, в котором, как вам казалось, описывались события, имеющие отношение к эвакуации детдома. Так вот, вы дурак, товарищ Кириллов. Сколь ни наивен был Мямлин,

он никогда бы не потащил в историю сомнительные факты. Это раз. Кроме того, вы, товарищ Кириллов, по какому-то недоразумению упустили из вида еще одно немаловажное обстоятельство: рукопись, как вам известно, была у Мямлина готова целиком, он даже договорился о ее перепечатке. А вот все то, что интересовало его в связи с детдомом, все это явно выглядело «незавершенкой». С Гришей-дурачком он ведь так и не сумел объясниться. А теперь настала пора внимательно поглядеть на те сто двадцать две страницы, которые преступник положил в чемодан, изучить внимательно последнюю и задаться вопросом: что сей сон означает? Не напоминает ли она ту, которую вы нашли в столе у Мямлина? Там автор запутался в двух «когда» и выдернул лист из машинки. Эта страничка обрывалась фразой: «О книгах и газетах наши сельские не имели никакого понятия, их читали только в том одиноком доме на Мызе да еще, может...» Наверное—будь здоров. Из такой фразы не скоро выберешься. Не заменил ли эту страничку Мямлин другой? В самом деле: рукопись у него состояла из трехсот страниц. А сто двадцать вторая почему-то не дописана до конца. Не делал же он две закладки...

Кириллов оторвал взгляд от рукописи и поглядел на Леснева. Сейчас этот парень мог ему помочь.

— Вы видели когда-нибудь Мямлина за машинкой? Где он работал?

— В клубе обычно. Иногда брал машинку домой. Печатал он плохо, клопов давил...

— У кого он брал машинку?

— В библиотеке. Но в этом году, по-моему, он вообще к машинке не прикасался. Может, весной, когда меня здесь не было...

— Читали?—кинул Кириллов на рукопись.

— Перелистывал,—усмехнулся Леснев.

— Давно?

— Да нет, не особенно. Чуть ли не в тот день, когда он с Гришей занимался.

— Не помните, сколько экземпляров рукописи было у Мямлина?

— Отчего же, помню. Два. И еще листочки, которые он повсюду разбрасывал. Графоманская привычка—терпеть не мог забывать ошибки в тексте. А вымарывал тушью, и чтобы обязательно ровненько.

— Много вымарывал?

— Не сказал бы. В одной главке, правда, он почеркал изрядно. Там, где писал о здравоохранении. Вписывал на место вычерков целые абзацы. Я еще спросил, что так?

— И что же он ответил?

— Ничего. Отобрал рукопись.

— И никак не объяснил?

— Ничего не сказал.

Так и Аняте он, Мямлин, ничего не сказал. А вымарывал, значит, что-то в главе о здравоохранении. Что же сие может означать? Ну, хотя бы то, что в последнее время он узнал о каких-то новых фактах. Пожалуй, годится как рабочее предположение. Но что же это за факты, о которых он не хотел ничего сказать ни Лесневу-младшему—приятелю все-таки,—ни Аняте, которую он любил и которая любила его? Вымарывал что-то в главе о здравоохранении... В этих словах содержался некий намек. Едва уловимый. Но в голове у Кириллова он засел крепко.

А Славка тем временем продолжал рассказывать:

— Вообще он был странным парнем. Не то блаженным, не то себе на уме...Леснев кивнул на гухлую пачку, которую Степан Николаевич задумчиво перелистывал.—А это важно?

Это было очень важно. Чрезвычайно важно. Оно-то и не давалось Кириллову столько времени.

«Ох, студент, студент... Почему я раньше не спросил тебя об этом? Не пришлось бы тебе подписывать протоколы, не лежал бы в больнице Чуриков-пьяница, обормот, но ведь человек все-таки... Нет, не блаженным был Мямлин и не себе на уме. Честным парнем был... Историю он воссоздавал, историю, и вымарывал он из рукописи свои ошибки. И не свои даже, а то, что ему в уши надули...»

— Я хочу спросить вас, Леснев... Только подумайте прежде. Попадались вам в рукописи упоминания о детдоме? В тех местах, где Мямлин менял текст?

— Нет,—сказал он уверенно.—Марал он там, где речь шла о двадцатых годах. Это я точно помню.

Что ж, так и должно быть. Если бы не было этих вычерков, преступнику не понадобилось бы уничтожать рукопись. Он ее уничтожил и на этом попался. Он рассчитывал, что номер пройдет, он ловко это проделал: нашел неоконченную страничку—ту самую, сто двадцать вторую,—подложил ее в рукопись, и на ней текст оборвался. Мямлинская работа стала выглядеть незавершенной. Сто двадцать две страницы первого экземпляра легли в чемодан, а остальные вместе со вторым экземпляром он забрал, чтобы уничтожить. Он, наверное, проклинал

Мямлина за то, что тот внес поправки в оба экземпляра. А может, не думал об этом. Он скорее всего не знал, что Мямлин ходил в последний свой день в библиотеку и договорился о перепечатке трехсот страниц. Другое он знал... Знал, что Мямлин печатал сам и никогда никому не показывал свои рукописи. На этом и строил преступник расчеты.

На этом и просчитался...

Давно ушел, скрипнув дверью. Леснев-младший. Кириллов задумчиво перебирал листки мямлинской рукописи, но читать не стал. Потом долго сидел, уставясь невидящим взором в страницу, и, подняв телефонную трубку, заказал Баку.

— По срочному.

— Будет в три раза дороже,— предупредила телефонистка.

— Пусть будет в три раза дороже, где наше не пропадало,— отшутился Кириллов.

Через несколько минут длинная трель звонка разорвала тишину номера.

— Хусайнов, ты?

— А как же...

— Приветствую тебя от лица службы,— бодро пробасил Степан Николаевич.— Понимаешь, тут какое дело...— В его голосе послышались просительные нотки.

— Опять дело?

— Да нет, так, пустячок.— И, не дав Хусайнову возразить, Кириллов быстро произнес:— Ты не знаешь, сохранилось свидетельство о смерти старика Рузаева?... Сохранилось?... Ты его видел?... А кто его подписал?

— А рахат-лукума тебе не хочется, э? Помнится, ты его любил. Но ладно— жди...

— Я звоню по срочному,— нерешительно пояснил Степан Николаевич.

— Жди,— послышалось в трубке.— У нас служба— как часы.— Сквозь шум и потрескивания до Кириллова доносились обрывки фраз. Хусайнов говорил по другому телефону. Наконец, Кириллов услышал:— С тебя причитается. Получай.— И Хусайнов назвал фамилию. Степан Николаевич удовлетворенно хмыкнул. Теперь ему было ясно, кто лгал, а кто говорил правду. Теперь он знал, кто убил Мямлина.

Слово было произнесено, а все остальное, как говорится, было делом техники. Надо было сплести сеть из нитей, которые до сих пор казались для этой цели попросту непригодными. Теперь же, когда в руках Кириллова был отличный крючок, в ход сразу пошли все обрывки.

И потянулись дни, заполненные главным образом, как это ни парадоксально, телефонными переговорами с начальством. Кириллову нужны были люди, много людей, для того, чтобы проверить некую тяжелую работу, в необходимости которой начальство сомневалось. Следователя раздражало это глухое сопротивление. Кроме того, он и сам не был уверен на сто процентов в том, что работа принесет ожидаемые плоды. Да что там на сто, он и на пятьдесят процентов не был в этом уверен. Но иного выхода он не видел. Мог бы, конечно, помочь Хусайнов, но все попытки отыскать следы женщины со шрамом не дали никаких результатов. А без решающего доказательства Кириллов не мог уличить преступника.

Тем не менее он потихоньку плел сеть. Несколько вечеров позанимался с Анютой— он готовил следственный эксперимент, который должен был дать ответ на вопрос о пропавших ключах. Правда, не подкрепленный тем самым решающим доказательством, этот эксперимент мог бы свободно вылиться в пустопорожний фарс. Однако Степан Николаевич все-таки к нему готовился. И самым тщательным образом. Анюта не понимала, чего он добивается, вышагивая вокруг нее с часами в руках и записывая, сколько минут она затратила на пересчет денег и сколько времени ушло на опечатывание сейфа. Но ведь и не нужно было, чтобы она это понимала, потому что в противном случае весь замысел лопнул бы, как мыльный пузырь.

Дни текли.

Распухала папка с поступающими из разных мест бумагами, содержащими скудные сведения о Ивонне Рузаевой, ее сыне и о других людях, живших когда-то. Но не вдохновляли Кириллова эти бумаги, не было в них ответов на главные вопросы. И с каждым днем он все отчетливее осознавал, что есть только один способ уличить преступника. Один—единственный.

Не о нем ли подумывал Мямлин, когда затевал игры с Гришей-дурачком? Правда, знал Мямлин еще что-то, может быть, даже держал в руках, но оно, это что-то, видимо, уже не существовало.

А дни текли, пока наконец не наступил тот, которого Кириллов ждал...

Окончание следует.

## МОСТ ПОД РЕКОЙ

Начало на 12 стр.

чей северной стуже... В один прекрасный день взял да и распрощался с насиженным местом, где, казалось, достиг всего, что мог: был сначала главным инженером, а позже начальником ОКСа—отдела капитального строительства. Теперь здесь, на Севере, командует Парабельским участком подводно-технических работ. И тридцать шесть человек на его участке—это люди не тепличных, не домашних условий...

— Левый, левый, я—правый... Притыкин, это я, Тонклевский. Как слышишь меня? Прием...

— Правый, слышу хорошо... Иосиф Яковлевич, что случилось? Прием...

— Виктор, слушай внимательно. Как только поднимем дюкер, давай нагрузку до тридцати тонн. Пойдет труба—еще нагрузку увеличивай. Как понял? Прием...

И снова Римар сделал отмашку флагом, и снова взревели катерпиллеры с трубоукладчиками, задрожала труба, чуть сдвинулась в сторону Ваха...

— Пошла... Давай еще нагрузку... Еще!

— Тридцать три... тридцать пять... сорок...

Труба остановилась как вкопанная.

— Сорок два... сорок три...

Труба словно омертвела.

— Сорок пять... сорок ше...

— Сто-оп! Сто-о-оп!

Рисковать нельзя: оборвется трос. Тогда придется тащить по дну Ваха новый трос с правого на левый берег, а это опять катера, водолазы, лебедка, часы и дни простоя...

— Отбо-о-ой!

Дюкер не подчинялся людям, словно наказывал их за преждевременную самоуверенность. А эта самоуверенность была, была... Никогда еще не укладывали дюкер летом, не тащили его по песку—четыре тонны весу. Четыреста—это одна плеть, триста метров. А ширина Ваха—шестьсот, и, значит, еще одна плеть, еще четыреста тонн. Укладывают дюкер обычно зимой, в стужу, когда каленеет одежда и сводит морозом дыхание. Казалось бы, самые неподходящие условия для работы, но... Трубу протягивают по всей ширине закопанной в лед реки, затем параллельно трубе делают по льду прорезь—тоже по всей ширине реки,—подхватывают дюкер катерпиллерами и трубоукладчиками и опускают на дно. Простейшая технологическая операция. Простейшая... для зимы. Но ведь сейчас не зима—лето. Потом—осень. Зиму еще ждать и ждать. А ждать нельзя. Нужно срочно тянуть газопровод. Ударная стройка. К весне газ из Нижневартовска через ГПЗ (газоперерабатывающий завод) по Парабельской трассе должен уже быть на Кузбассе, питать промышленные предприятия Кузнецкого бассейна. Так разве можно ждать зиму? Ни в коем случае. Иначе срыв ударной стройки. Но реально ли тянуть дюкер летом—с берега по земле, по песку спихнуть многотонную громаду в воду, а потом протаскать ее по дну на другой берег?! Да это просто немислимо! Фантастика! Прожектерство!

И все-таки другого выхода не было. Кончался, тускнел летний северный день. Посвинцовели воды Ваха. Зеленые луга, сплошь и рядом раскинувшиеся по болотистой тюменской земле, налились дымчатым, в сизость, цветением. Солнце завалилось за горизонт.

— Федя, созови-ка ребят.—Голос у Римара был уставшим.

Федя Хакимов, главный механик участка, собрал бригады.

— Ну как, ребята, будем работать?—спросил Римар.

Ребята молчали. На темных до черноты лицах блестели белки глаз.

— Ведь сколько шли к этому...—Римар как бы равнодушно взглянул на Вах, и все тоже посмотрели на реку.

Шли они к этому немало... Берега Ваха—болотистые, техника проваливается, а что же говорить о дюкере, две плети которого по четыреста тонн каждая? Нужно было намыть на берегу тысячи тонн грунтового песка, утрамбовать его, приготовить площадки. Сделали. Приготовили. Намыли сорок тысяч кубов песка. А потом нужно было собрать каждую плеть, спаять сегменты, наложить на плеть изоляцию, сделать футеровку—деревянную обшивку, а уж на футеровку наложить (не больше чем через метр) чугунные пригрузы—каждый по одной тонне весом. И вот теперь всю эту тяжесть нужно было спихнуть в воду и по дну тянуть на другой берег, по страшно сопротивляющемуся дну...

— Федя! Хакимов! А может, катерпиллеры впереди поставим?—Римар смотрел в глаза главному механику напряженно, с надеждой.

— А резон?

— Ну, толканем для начала посылней...

— Владимир Францевич, можно слово...—Ваня Семченко, ас трубоукладки, лихо сдвинул шляпу на затылок. Это он всегда так: голый по пояс, в соломенной шляпе, черные очки—король Севера.—Тут вот какое предложение есть, Владимир Францевич... У лебедки какой максимум тяги? Пятьдесят тонн? Ну вот и пусть товарищ Притыкин даст все пятьдесят, а?—Семченко весело смотрел на Римара и Тонклевского.

— А если...

— Волков бояться—в лес не ходить... Волков, конечно, лучше не бояться. Это понимал Римар. Но дело в том, что Притыкин, начальник производственно-технического отдела СУ ПТР-3 (специального управления подводно-технических работ), приехал из Сургута специально контролировать сегодняшнюю работу. Вдруг не согласится дать максимум? Ведь сам встал у лебедки, переехал даже на левый берег—руководить работой.

— Левый, левый, я—правый, как слышите меня? Прием...

— Правый, слышу вас хорошо. Почему прекратили протяжку дюкера?

— Дюкер замер на месте. Сдвинулся всего на несколько метров. Левый, левый, есть предложение... дать максимум... Как слышите? Прием...

— Правый, слышу вас хорошо. Хорошо слышу...

— Левый, так как насчет пятидесяти? Молчание, треск в наушниках.

— Левый, левый, почему молчите?

— Даю пятьдесят. Правый, даю пятьдесят. Постепенно выхожу на максимум. Как слышите меня? Прием...

— Понял вас. Даю отмашку...

И снова Римар взмахнул флагом. Сгущающиеся сумерки прорезал страшный рев катерпиллеров и трубоукладчиков, теперь—переставленные—они сосредоточили силу тяги ближе к началу трубы, лебедка в это время дала максимальную тягу—пятьдесят тонн, и труба—родная, долгожданная, бесценная, золотая—плавно пошла в воду, в свинцовую ее глубину...

Все еще будет впереди—уйдет на дно первая плеть, за ней, припаянная концом к концу, скроется в воде вторая, и водолазы проверят, как дюкер лежит и нежится на дне... И все будет в порядке, и будет радость, ликование, победа, как будут победы и на других реках, через которые им, римаровцам, тянуть еще дюкеры: через Обь-Медведево, через Ильяк, Кильяк, Васюган, Парабель... Да, все это еще только будет... а сейчас, вот в эти минуты, они видят, как уходит дюкер в плотную глубину Ваха. Они видят это сейчас—и нет предела их радости!

...А все же солны берега у Ваха.

**Н**

и одно стихотворение, когда-либо мною написанное, ни одно слово, произнесенное за всю мою жизнь, ни один из выкриков, которые я когда-либо бросал: «Я величайший», «Я самый прекрасный», «Я никогда не буду побежден», «Он падет в пылу!» — ни одна моя выходка, порождавшая все новых врагов и все новых друзей, — ничто так сильно не повлияло на мою жизнь, как стихотворение, прочитанное мною по Центральному телевидению одним теплым февральским днем в Майами в 1966 году.

Я готовился тогда в третий раз защищать звание чемпиона мира в профессиональном боксе. На этот раз против почти двухметрового Эрнн Терредда, прозванного Спрутом за его излюбленный прием обхватывать руками противника, обезвреживая тем самым его удары и сжимая его до полусмерти.

В тот день я вышел в палисадник небольшого серого коттеджа, который мои белые покровители арендовали для меня в негритянской части Майами. Там меня поджидал репортер с телевидения, подсланный разузнать о моей реакции на то, что

луисвиллская призывная комиссия решила перевести меня из состава I—У, дающего право на отсрочку, в I—А, то есть теперь я подлежал немедленному призыву в армию.

Я ему ответил: «Мне нечего делить с Вьетконгом». Позже, когда меня стали постоянно допрашивать подобными вопросами, я зарифмовал свой ответ:

*Сколько ни спрашивайте меня  
О Вьетнаме,*

*Всегда один ответ получен будет вами:*

*«Ни с кем не ссорился  
Я во Вьетнаме».*

Конечно, я сказал тогда больше, гораздо больше, я говорил весь вечер, но, наверное, люди хотели услышать от меня именно эти слова. Они выламывались из газетных заголовков по всей Америке и за океаном — в Лондоне, Париже, Берлине, Цюрихе, Мадриде, Гонконге, Риме, Амстердаме. И много лет спустя вокруг меня все еще отдавалось их скандальное эхо.

После того, как уехали эти репортеры, я решил прокатиться в Майами-Бич пообедать, а когда вернулся, мой брат уже ждал меня на пороге. Он украдкой подал мне знак, чтобы я как-то избежал от репортеров, следующих за мной по пятам. «Все время звонят, — успел прошептать он, когда я проскользнул мимо него в дом. — Они взбесились».

У нас было три телефона, и все три звонили. Я поднял трубку у ближайшего.



Мохаммед АЛИ:

**„Я БЫЛ ВНЕ ЗАКО“**



«Постой,—пытался удержать меня брат.— Дай я отвечу. Они все сошли с ума».

Но в этот момент я уже слышу тяжелый, злобный голос на другом конце линии: «Это ты, Кассиус?» «Нет, сэр,—ответил я; мне хотелось, чтобы он по крайней мере признал мое истинное имя.— Это Мохаммед Али».

«Мохаммед, Кассиус—как бы ты себя там ни называл, я слышал, что ты сказал по телевизору!—закричал он.— Ты трусливая черномазая крыса!.. Если бы у меня была бомба, я бы взорвал тебя к чертовой матери! У меня есть что сказать таким, как ты!»

Я повесил трубку и взял телефон, который протянул мне мой спарринг-партнер Коди Джоунс. Сначала послышалось лишь тяжелое сопение. Затем: «Ты подохнешь, черномазый, прежде, чем наступит утро. Ты за все заплатишься смертью»,—и еще более грозное сопение.

Действовали первыми те, кто всегда хотел, чтобы я исчез со сцены. И первые звонки раздавались чаще всего из белой части Майами. Но как только новость распространилась через все временные зоны, раздались и другие голоса: «Великолепно!», «Давно пора было кому-нибудь это сказать», и «Самое время заговорить об этом».

В последующие дни звонки раздавались из Канзас-Сити, Сент-Луиса, Лас-Вегаса, Нью-Йорка, Филадельфии. Домохозяйки, интеллигенты, простые работники, голоса которых я никогда не слышал, разве что в моменты моих сокрушительных ударов на ринге, благодарили меня за мои слова. Студенты звонили из университетских городков, настоятельно приглашая меня приехать к ним и выступить. Я попал в странное и непривычное для меня положение. Никак к тому не стремясь и в общем-то даже и не желая того, я стал важной частью общественного движения, о существовании которого я, можно сказать, ничего не знал.

В течение многих дней я разговаривал с людьми из совершенно иного мира. Людями, которые даже и не интересовались спортом, тем более профессиональным боксом. Один из них особенно мне запомнился. Это был замечательный человек лет на 70 старше меня, но с таким живым и непредвзятым взглядом на мир, который вряд ли встретишь у белого человека в Америке.

Мой брат, Рахман, передал мне телефонную трубку со словами: «Телефонистка говорит, что какой-то Бертран Рассел вызывает Мохаммеда Али». Я взял трубку и услышал твердую, отрывистую речь англичанина: «Это Мохаммед Али?» Удостоверившись, что это я, он спросил, правильно ли меня цитируют в прессе.

Я ответил, что правильно, но тогда меня уже начинало раздражать всеобщее любопытство. «Почему это каждому хочется знать, что я думаю о Вьетнаме? Я не политический деятель, не руководитель какого-то там движения. Я просто спортсмен».

«Сейчас нет более варварской войны, чем эта,—сказал он,— а тот ореол, которым окружают чемпионов, вызывает в людях желание узнать, и не совсем уж из праздного любопытства, что думает об этом чемпион мира. Как правило, он не идет против течения. Вы удивили меня».

Мне понравился его голос, и я сказал, что, вероятно, скоро приеду в Англию, чтобы снова встретиться с европейским чемпионом Генри Купером.

«Если я буду драться с Купером, на кого вы поставите?»

Он рассмеялся: «Генри—талантливый боксер, но я бы выбрал вас».

Я ответил ему в своей обычной манере: «Ты не так уж глуп, как выглядишь».

И я пригласил его на бой, который собирался дать в Лондоне.

Правда, прийти тогда он не смог, но в течение нескольких лет мы обменивались открытками и короткими письмами. Я не представлял себе, кто он такой (ведь имя Бертрана Рассела не упоминалось в числе выдающихся людей в Луисвилле), до тех пор, пока, листая Всемирную энциклопедию в редакции газеты «Мохаммед спикс», я не натолкнулся на его имя и фотографию. Его называли там одним из величайших математиков и философов XX века. Я тут же сел и напечатал ему письмо с извинением за мое бесцеремонное замечание: «Ты не так уж глуп, как выглядишь». Но он написал в ответ, что эта шутка его только позабавила.

Немного времени спустя после встречи с Купером у меня снова возникла возможность выступить в Лондоне, и я планировал посетить Рассела вместе с Белиндой. Но мне пришлось объяснить ему, что из-за моего выступления против призыва во Вьетнам поездка может быть отложена. Письмо, которое он написал в ответ, было отправлено на мое имя в Хьюстон.

«Я прочел ваше письмо и хочу выразить вам свое глубочайшее уважение и восхищение. Несомненно, что в ближайшие месяцы те, кто управляет сейчас

в Вашингтоне, попытаются раздавить вас любым доступным им путем. Но я уверен, что вы осознаете значение своих слов для всех борцов против американского насилия. Они попытаются сломить вас, потому что вы стали символом той силы, которую они не способны сокрушить, той силы, которая заключена в пробуждающемся сознании всех людей, решившихся выйти из униженного состояния страха и угнетения. Я всем сердцем с вами. Приезжайте ко мне, когда будете в Англию.

Искренне ваш Бертран Рассел».

К тому времени, когда я получил это письмо, я был уже осужден и мой паспорт изъяли, так же как и его—в первую мировую войну. Четыре года спустя мне вернули паспорт, но к тому времени мой друг, с которым нас сдружили слова, произнесенные мною в палисаднике в Майами, уже умер. Теперь, когда бы я ни приезжал в Англию, я всегда вспоминаю о нем, и в течение многих лет я хранил фотографию его доброго лица, его широких и ясных глаз.

Когда я приехал в Майами, я был полностью поглощен мыслями о предстоящей встрече со Спрутом. Поэтому на меня мало действовали слова телевизионного репортера Роберта Халлорена, который, подойдя ко мне однажды вечером, сказал, что у него есть новость, которая потрясет всех моих. «Разразится такое, что заставит тебя позабыть всяких там Терреллов».

Я терпел Халлорена у своей кровати несколько минут до отбоя, а потом начал похрапывать, чтоб он поскорее убрался.

Он наклонился ко мне и прошептал: «До меня дошли сведения из Луисвилльской призывной комиссии, что уже все, тебя перевели в состав I—A. Это будет объявлено завтра утром».

«Мне говорили об этом и раньше.—Я почти уже засыпал. С тех пор, как стало известно, что я принял ислам, не проходило и месяца, чтобы откуда-нибудь не проник слух, что меня вот-вот призовут.—Но почему меня и почему сейчас?»

«Тебе двадцать четыре года, ты здоров, без семьи. Они хотят тебя перевести в первый состав. Им нужно заполучить тебя, пока тебе нет 26. Тогда они до тебя уже не смогут добраться».

«Но послушай.—Я перевернулся на бок.—Я дважды проваливался на призывном экзамене. Проходной балл был 17, а я набирал 16. Кроме того, с тех пор у меня была серьезная операция по поводу грыжи».

«Я знаю.—Он понимающе кивнул.—Но они снизят пропускной балл до 15, и тогда ты будешь уже годен». И он хихикнул.

«Это помешает встрече?» Сон мой начинал уже проходить.

Он покачал головой. «Этой встрече—нет. Сегодня 17 февраля. Встреча назначена на 29 марта в Чикаго. Они не успеют подготовиться так быстро. Но после этого...»

«Для чего ты явился сюда и говоришь мне об этом?» Я посмотрел на него с некоторой подозрительностью.

«Потому что только я знаю об этом из достоверных источников,—сказал он.—Мне нужно твое согласие на телевизионный репортаж отсюда завтра утром, когда будет объявлено об этом. Но только с исключительным правом для нашей компании. Идет?»

«Я подумаю об этом».

Все, что я знал в то время, было в долблено в меня еще в школе: любая война, которую ведет Америка,—это война за «свободу», или «за спасение демократии для всего человечества», или за «сохранение мира». Если бы меня забрали в армию в то время, я, возможно, пошел бы туда без звука, если бы только не попросил отсрочки для Олимпийских игр. Но после возвращения из Рима я начал прозревать.

...Действительно, бокс—единственное дело, которым я когда-либо занимался, но во мне всегда было что-то, восставшее против такого положения вещей. Наверное, оттого, что те, кто наживался на этом деле, не считали боксеров за людей, не предполагая в них никакого интеллекта. Они считали, что мы существуем только для того, чтобы развлекать богатых. Чтобы разбивать друг другу носы, истекать кровью, зализывать раны и снова быть вытолкнутыми на ринг, где мы убиваем друг друга ради толпы. А ведь по крайней мере половина этой толпы были белые.

Меня часто тогда преследовало ужасное видение: два дерущихся на ринге раба. Как на плантациях в давние времена рабства, мы, два больших черных раба, деремся, избивая друг друга почти до полусмерти, а в это время хозяева курят огромные сигары, режут и подзадоривают нас, желая крови.

С тех пор как мне было запрещено выступать на ринге из-за моего протеста против войны во Вьетнаме, я получил письма из 97 стран. Я переписывался с такими людьми, как Бертран Рассел, Жан-Поль Сартр, обменивался письмами с главами других

государств, а добился признания ведущих людей Америки, а также белых и черных студентов по всей стране. И, хотя не всегда осознавая это, я начинал постепенно изменяться. Бокс остался позади. Я хотел добиться известности как борец за свободу. Но мне нужны были соратники — близкие товарищи, которые бы делали то же дело, что и я, чувствовали бы так же, как я, друзья, равные мне по силе и преданности, с которыми бы я боролся плечом к плечу за освобождение черных. Мне нужен был такой дружище, как Джо. Два таких динозавра, как мы, которые что-то да и значили для 30 миллионов негров. Которые могли бы помочь им. Мне и Джо Фрээр, думал я, надо держаться вместе. Ведь хотя я и подкалывал и вышучивал его на публике, я всегда внутренне восхищался им. У него сердце истинного негра-борца. Может быть, мы с ним и не придём к соглашению по многим вопросам, как президенты и премьер-министры, губернаторы и мэры, но мы могли бы работать над одним делом. Таким общим делом, как свобода, справедливость и равенство для всех черных. Может быть, это были только мечты, но я не мог от них избавиться. Я представлял себе, как было бы хорошо, если бы Джо Фрээр мог прийти ко мне, а я к нему. Ведь я действительно был тронут, когда он сказал мне в машине, что назвал своего ребенка в честь меня. Это позволяло мне думать, что он тоже где-то в глубине души восхищается мною.

Но однажды, раздавая автографы, я поднял глаза и увидел... что он стоит с краю толпы, его ковбойская шляпа сдвинута набок. И холодок прошел по мне, когда мы встретились глазами. У него был взгляд скитальца-охотника, который приехал в город, чтобы оценить, у кого самое лучшее ружье. В его взгляде не было ни зависти, ни ревности, только одно холодное, оценивающее выражение. Он знал, что, лишь победив меня на ринге, он сможет добиться всеобщего признания как чемпион...

И вот уходят мои лучшие годы. Решение Верховного суда по моему делу вот-вот должно выйти. Мои адвокаты считали, что шансы избежать заключения очень невелики. И хотя я во всеулыбание заявил, что мне безразлично, буду ли я снова выступать или нет, в глубине души я хотел вернуться на ринг, сбить всех претендентов на трон и корону и доказать, что я могу сделать то, что ни Джо Луис, ни Роки Марчиано, ни Джек Демпси, ни один выдающийся боксер не может сделать. — вернуться на ринг после такого долгого перерыва и победить любого боксера, какого бы ни поставили против меня во всем мире.

Я помню, как однажды вечером, уже засыпая, я никак не мог избавиться от мысли об очередной неудаче организовать для меня встречу, на этот раз в Сиэтле, из-за того, что Американский легион угрожал бойкотом. Неужели нет такой силы, которая могла бы сломить организованную против меня кампанию? Я подумал об обыкновенных людях с улиц, одни из которых хотят видеть мою победу, другие — поражение. А все они вместе хотят одного и того же — увидеть меня на ринге с каким-нибудь сильным противником. А самый же сильный — это Джо Фрээр.

На следующее утро я пробежал около трех миль вокруг Органди Парк, как будто мне предстояла встреча. У меня возникла одна идея, и она меня так взволновала, что я, вернувшись домой, прилетел отдохнуть ровно на столько, сколько нужно Джо, чтобы добраться до дома Янка Дёрхема, где, как я знал, он собирался быть в это утро.

Я набрал номер, и Янк поднял трубку. — Янк, ответь, только честно, — сказал я. — Вы что, хотите все-таки улизнуть от матча со мной? Скажи честно!

— Ты с ума сошел?

— Тогда почему же вы не договариваетесь насчет встречи? Почему вы не требуете ее?

— Ты дурак, что ли, не знаешь, почему?! Они не выдают тебе разрешения. Они приберегают тебя для тюрьмы. А встреча на звание чемпиона мира за решеткой — такого еще никогда не было. Вот тебе и весь ответ.

— Но если люди хотят видеть, как жестоко мы будем драться за этот титул, если мы покажем, как они жаждут увидеть это...

— Что ты задумал, Кассиус?

— Где Джо? Дай ему трубку.

— Джо, подойди! Кассиус хочет поговорить с тобой.

— Джо, когда ты сегодня тренируешься?

— В четыре, а в чем дело?

— Где?

— В спортзале Колумбия, 22, а что?

— А то, что ты и я будем драться в четыре. Ты и я.

Джо помолчал немного, но даже через телефонную трубку я почувствовал, что он ухватил мою идею.

— То есть просто так. Только раздражить. Вроде приманки! Так! Твои люди будут отгаскивать тебя,

мой — меня, а мы будем изображать, что хотим бороться наконец друг с другом.

— Вот-вот! Послушай, Джо! Я собираюсь позвонить всем ведущим, всем дикторам на радио и телевидении, во все газеты. Я скажу им, что ты берешь меня на пушку, говоря, что я не осмелюсь прийти к тебе в спортзал. Сечешь?

— Давай валить!

— Я скажу им, что ты обещал меня вышвырнуть вон, если я осмелюсь появиться там. Они меня знают. Меня не запугаешь. Я им всем скажу, что в четыре часа я пойду в твой зал, чтобы на ринге уладить наш спор. Я хочу, чтобы собрался народ и посмотрел, как бы я с тобой разделался, если бы когда-нибудь мы с тобой встретились взаправду.

— Если ты так это изобразишь, то ни один в здравом уме не поверит тебе. И я первый.

— Неважно, Джо! Они ведь думают, что мы с тобой два безмозгих, одуревших ниггера, до того ненавидящих друг друга, что готовы на все. Они уверены, что мы с тобой не ладим. Весь мир хочет увидеть, как мы деремся. И не просто здесь, а где угодно и в любом месте земного шара. Им нужен именно этот бой, и никто не сможет остановить его. Я получаю письма отовсюду. Все хотят знать, кто из нас сильнейший.

— Да. Я тоже получаю такие письма.

— Тогда как же они могут помешать тому, что хочешь весь мир?

— Поместив тебя на скамью подсудимых.

— Вот это я и скажу прессе. Я должен во что бы то ни стало попасть к тебе в зал прежде, чем попаду в тюрьму. Я хочу как следует тебя разделать до того, как окажусь за решеткой. «Я в камере такое сделаю, что не убраться в неделю целую. Но прежде чем пойду в тюрьму, я Джо-Курягу изобью». Это мое последнее стихотворение.

— У меня тоже есть для тебя стихотворение, только там все наоборот.

— Но согласишься, Джо, в поэзии ты еще не достиг моего уровня.

— К черту! Бад Коллинз говорит, что Роберт Фрост отправился в могилу с улыбкой. Я думаю, что и твои стихотворения его бы не напугали.

— Послушай, Джо. Моя карьера кончена. Ни один агент не может устроить мне встречу. Но я не смогу ни есть, ни спать в тюрьме, зная, что я оставил тебя на свободе непобитым. Я скажу это всем комментаторам, всем дикторам на телевидении: «Приходите в спортзал в четыре и посмотрите, как я буду разделываться с Джо Фрээрером». Усек? Джо начал заводиться.

— Ну и к черту! — заорал он. — К черту десяти-миллионный стадион. К черту матч века! Этот город слишком тесен для двух таких проклятых негров, как мы. Один из нас должен уйти, и это будет Клей! Одному из нас придется покинуть город, и это случится сегодня вечером.

— Правильно, Джо. Мы скажем журналистам, что не можем не провести этот бой. Нам безразлично, что он состоится не в Мэдисон Сквер Гарден. Нам все равно, что мы не сможем провести его в Хьюстон Астродам или Поло Граунде. Мы встретимся прямо здесь, в твоём зале, в четыре.

— Скажи им, пусть позвонят мне, и я подтвержу. — Джо уже загорелся этой идеей. — Я им скажу: «Клею незачем ехать в Филадельфию. Этот ниггер должен остаться здесь, в Луисвилле, где он родился. Мы не станем больше ждать». В общем, я буду в зале. Нам даже, может быть, не понадобятся перчатки. Мы сможем драться так, голыми руками, как в давние времена. Никаких шлемов. Плоть к плоти! Пока!

Я обзвонил всех радиокомментаторов и ведущих с телевидения в Филадельфии и некоторых в Нью-Джерси. Я позвонил в филадельфийскую газету «Инквайер» и на телестудию. Я вспомнил о популярном ведущем с телевидения, негре Сонни Хопкинсе, по прозвищу Майти Бернер («Могущественный подстрекатель»), и он обещал тоже обзвонить всех, кого надо, и связался со всеми дикторами, которых знал на сотни километров вокруг.

Я просто ревел в трубку, разговаривая с ними: — Джо осмелился вызвать меня в свой зал, чтобы драться со мной. Я буду там в четыре, и мы будем драться, пока один из нас не отпадет. Я устал ждать, когда мои агенты организуют эту встречу. Я не могу ждать. Если не верите, позвоните Джо Фрээреру! Так будьте там! Посмотрите, как я разделюсь с Фрээрером. Вход свободный!

Через несколько минут начали уже звонить и мне. Репортеры интересовались, на самом ли это деле. Сначала местные, потом из Лос-Анджелеса, Вашингтона и перед самым моим отъездом к Джо — из Парижа и Лондона.

— Кто это затеял? — спрашивали из Ассошиэйтед Пресс. — Кто отвечает за это?

— Так вы действительно деретесь с Фрээрером в его зале? — хотели узнать из агентства ЮПИ.

— Да! — отвечал я. — Вы позвонили как раз вовремя. Я уже почти на пороге. Увидимся в зале.

— А вы в форме? — спрашивали другие.

— О моей форме не беспокойтесь. Это будет драка не на жизнь, а на смерть.

Скоро половина четвертого. Забежали несколько моих друзей. Они были взволнованы не меньше меня. Я надел свой фривольный голубой джинсовый костюм, красную с белым глухую рубашку и тяжелые, грубые башмаки-броганы. И мы все отправились. Новость уже успели пустить в эфир. Огромная толпа фоторепортеров собралась у моего дома, около пятидесяти машин выстроились в ряд вдоль ограды.

Мои соседи заводили машины, чтобы ехать вместе с нами. Аптекарь на углу подкатил с какими-то пиллолями, которые, как он сказал, дадут мне «энергию динамита». Он закрыл торговлю на весь день. Владелец заправочной станции выключил все свои бензоколонки, и все его люди начали собираться за нами.

Перед тем как мы тронулись, подъехала полиция. Один черный полисмен сказал, что ему хотелось бы удостоиться чести «эскортировать» меня до спортзала Джо, чтобы я не потерял дорогу. Впереди нас полицейские машины с включенными сиренами, позади — вереница в пятьдесят машин — вот так мы и следовали до фрээрерского спортзала. Люди бежали за нашей машиной, стучали в стекла и складывали пальцы в знак победы.

Два репортера с переносными радиостанциями устроились на крыше грузовика и передавали по своим станциям каждый момент нашего продвижения, было это была армия на пути к вторжению.

Я высунул голову из окна машины и закричал в толпу:

*Никакой Колизей нам не нужен.  
Я разделяюсь с Джо в его собственном зале.  
Приходите туда, зову я каждого,  
От Джо не найдете и места влажного.*

Мы были вынуждены остановиться за десять кварталов до спортзала. Полисмены, ехавшие впереди, вернулись к моей машине и сказали: «Мы не можем ехать дальше. Отсюда вся улица забита машинами».

Я посмотрел вперед, и, насколько хватало глаз, везде были машины, притиснутые друг к другу.

— Единственная возможность добраться туда, — сказал чернокожий полисмен, — это идти пешком. Машины начали собираться здесь уже два часа назад.

Если у меня и были какие-то подозрения, что Фрээрер не станет мне помогать, то теперь они совершенно рассеялись. Было видно, что Джо опозвонил всех своих комментаторов о нашем уговоре, только в его изложении победа должна была быть за ним.

Наше появление на улице без машины, пешком только увеличило толпу и еще больше ее взбудоражило. Люди высовывались из окон и кричали:

— Али идет на встречу с Фрээрером!

— Вот Али! Он собирается драться с Джо!

— Вот, наконец, кто-кого!

— Бой! Бой!

Я чувствовал такой необыкновенный прилив сил и уверенности, какого не знал с тех пор, как вышел из дверей призывной комиссии.

Хотя то, что я собирался делать, было только розыгрышем, меня приветствовали так, как никогда еще в моей жизни, даже во время моих грандиозных схваток с Листоном, Терреллом, Петтерссоном.

Наконец, мы добрались до дверей спортзала. Толпа, собравшаяся позади меня, была настолько огромной и плотной, что пришлось вызвать полицию с овчарками. Собаки с лаем кидались на толпу, чтобы как-то оттеснить ее.

— Где Джо Фрээрер? Мне нужен Джо Фрээрер!

Я начал дубасить кулаками в дверь.

— Открывай, Джо! Я знаю, что ты там. Открывай и встречь меня, как мужчина мужчине. Ты никакой не чемпион! Это я настоящий чемпион! Открывай, Джо!

Толпа подхватила меня.

— Открой дверь, Джо!

— Встреть его, Джо! Выходи!

Кто-то отпер дверь — мне кажется, это был Янк Дёрхем — и тут же нырнул куда-то прочь с дороги. Напирающая толпа тут же ринулась внутрь, оттеснив меня. Полиции пришлось помогать нам пробираться в помещение, размахивая дубинками и угрожающе покрикивая: «Назад! Дайте ему пройти! Назад!»

Джо был около ринга, он сидел на стуле, пробуя перчатку, надевая на левую руку, будто собираясь испробовать ее потом на мне. Я чувствовал себя прекрасно. Джо не отступил от задуманного. Я всегда буду его любить за это. Ведь какая была ему нужда во всей моей затее? Он был наверху, а я внизу. Он был признанным чемпионом. Я был вне закона.

Перевод Марии БОГДАНОВОЙ.



ПОЭЗИЯ



Земли бурятской сын

Всякий раз, когда мы читаем книгу стихотворений, наше сердце какое-то время проживает в тесном соседстве с сердцем поэта. На мой взгляд, прочитав книгу бурятского поэта Алексея Бадаева «У подножья Саян», вышедшую в 1976 году в Бурятском книжном издательстве (г. Улан-Удэ), читатели познакомятся с сердцем поэта, распахнутым настежь, чтобы дарить людям свое тепло.

В стихотворениях Алексея Бадаева ярко выражены особенности нашего времени. «Счастливые времена мое...» — так говорит поэт о современности. Поэт заботится о счастье своего современника. Верит в его мастерство, в талант. Эта вера проходит через многие стихи Бадаева. Автор создает портрет своего современника — человека эпохи великих свершений. Он поет гимн мужеству людей, строящих коммунизм.

С большой художественной выразительностью поэт рисует картины родной природы. Используя эпитеты и сравнения, Алексей Бадаев делает свою поэзию живой и доступной читателю: «облаков пирог слоеный...», «...туман-пуховик», «овцы курчавой лавиной застыли», «янтарные тела колосьев». Истоки его таланта находятся в темносиних бурятских реках, на вершинах Саян, в родной земле. Особое чувство возникает у поэта, когда он видит пробужденные природы, приход весенних говорливых дней. Поэт не только хочет сам насмотреться на это чудо природы, но спешит поведать об этом людям. А главное, Алексей Бадаев умеет удивляться с пылким, юношеским восхищением: «На земле такое изобилие пленительной и чистой красоты...» — восклицает он. С чувством гордости за красоту родной земли рассказывает поэт о «небесно-лазурной чаше» Байкала. С ним у Алексея Бадаева связаны воспоминания о некогда пережитых чувствах, о судьбах людей, живущих на его берегах.

В поэме «Улыбка Ильича» Алексей Бадаев рисует многогранный образ простого и великого человека. Поэт, будучи нашим современником, делится с нами теми чувствами, которые у него сегодня вызывает улыбка Ленина. Автор пишет, что ленинская теплая улыбка живет в каждом из нас. Улыбка Ленина — это символ светлой жизни. На самых трудных участках работы, в самые тяжелые минуты борьбы на помощь приходит ленинский взгляд. В этом взгляде уверенность в победе, в способности людей вершить большие дела. Добрые глаза Ильича улыбаются и лучатся. Вот таким в понимании поэта живет Владимир Ильич Ленин в сердцах советских людей.

Игорь ЖЕГЛОВ



«Доброе слово»  
поэта

«Земная красота» — так назвал свою книжку, изданную в 1976 году «Советским писателем», поэт Евгений Антошкин. Удивителен лаконизм при всей многоплановой, эмоциональной да, пожалуй, и временной смещенности тем и мотивов поэтического сборника. Ведь в стихах Антошкина рядом с легкими, пастельными «зарисовками с натуры», то есть с картинами природы милой его сердцу среднерусской полосы, оживают страницы нашей славной истории: с баррикадами Красной Пресни, с редущим отрядом рабочих, с алым шелком знамен революции. И те не столь далекие годы, которые в сознании сравнительно молодого поэта встают обнаженной болью слов: была война... Память об отце, не вернувшемся с полей Великой Отечественной, голодное военное детство, «горелых головешек запах» — все это наполняет стихи Е. Антошкина, я бы сказала, особым, мужественным смыслом.

Однако главное ядро новой книги составляют стихи о нашей современности. О строителях хлебопашах, мечтателях... Лирический герой Евгения Антошкина — это человек, потрясенный красотой родной земли: «Ведь это чудо: вдруг весной увидеть родину зеленой». Это своего рода творческое кредо автора: не уставая, радоваться красоте окружающего мира.

В том торжественном и радостном мире, в котором поэт поселил своего лирического героя, главным мерилом ценностей является чуткость, доброта. Поэт буквально умоляет людей быть внимательными друг к другу. Более того, он требует по-настоящему человеческого отношения к вещам, к природе, к некоему.

Удачно, по-моему, в этом плане стихотворение «Опять над

заводом дым раскодились...». Автор обращается в нем к друзьям своей юности, с которыми он начинал свою трудовую жизнь. От них, благословивших его когда-то на путь творчества, ждет он, профессиональный поэт, поддержки в критическую для себя минуту. Он хочет услышать, как бывало:

— Да ты не волнуйся,  
Да ты не спеши.  
Уже получается доброе слово —  
Пиши.

«Доброе слово» — видите, не «верное», не какое-то другое, но доброе. Какой многозначный и точный эпитет!

Естественно, что одной из самых важных и значительных тем в стихах Е. Антошкина является тема творчества. Е. Антошкин прав — прежде чем взяться за карандаш, настоящий художник не может не думать о тех, кто «спешит с утра на пожить», к станку. То есть он не может не думать о том, как отзовется слово в сердцах его прекрасных современников — строителей БАМа и КамАЗа, покорителей звездных трасс.

Причастность к судьбе Родины, кровное единство с жизнью огромной страны характерны для всего творчества Евгения Антошкина. Именно это и дало право автору завершить поэму «Дедал» совершенно неожиданно, трансформируя миф о крыльях Дедала в живую легенду о любимце века — Гагарине, осветившем мир своей улыбкой.

«Земная красота» — книга настоящего поэта. Не все в ней, разумеется, сделано на одном уровне. Но это происходит большей частью от стремления автора вставить в лаконичные строчки стихов как можно больше впечатлений.

Я глубоко убеждена, что новая книга Евгения Антошкина найдет дорогу к сердцам подлинных любителей поэзии.

Валентина ЛЕВОЧКО

ПРОЗА



Зримые черты  
повседневности

О простых людях, об их повседневных заботах, печалях, радостях рассказывает книга Михаила Колосова «Гаврюшкина любовь», вышедшая в издательстве «Молодая гвардия» в 1976 году. Эта книга — сборник рассказов о людях рабочего поселка в Донбассе. Герой первого рассказа — Гаврюшка. Этот молодой парень работает в сортировочном парке составителем поездов. Гаврюшка очень любит Лену — молодую красивую де-

вушку, но ее мать решительно против их женитьбы. В дальнейшей жизни молодых людей складывается неудачно: Лена выходит замуж за нелюбимого человека, Гаврюшка с досады начинает ухаживать за другой девушкой. Через много лет эти, уже довольно пожилые люди случайно встречаются. Оба прошли трудный путь в жизни, им горько осознавать, что так неудачно и, главное, уже бесповоротно сложилась их судьба.

В рассказе «Неботов» перед читателем раскрывается жизнь многодетной семьи Неботовых. Глава семьи Федор Неботов — тихий, замкнутый человек. Неботов очень чужок к чужому несчастью, очень внимателен и добр к людям. Его жена Екатерина похожа на мужа. Трудно живется Неботовым. Они уже немолоды, и все же где-то в глубине души они счастливы, что растут на этой земле новые Неботовы — их дети. И пусть сыновья ничего особенного не добьются в жизни, они будут такими же честными людьми, как их родители.

У Михаила Колосова не встретишь «необычных» героев в необычной обстановке. Писатель рассказывает нам об обычных людях и вместе с тем о сложности человеческой судьбы. Очень трогает рассказ «Старая акация» о жизни пожилой женщины Павловны. Разъехались по большим городам ее сыновья. Дочь, хотя и живет в родном селе, занята своей семьей и редко навещает мать. Единственная отрада у старой Павловны — это щенок по прозвищу Жучок. На семидесятилетие матери приезжают сыновья. У каждого свои заботы и хлопоты. Оценить же отношения матери с детьми писатель предлагает нам, читателям. Так ли, как надо, заботятся дети о Павловне, не является ли одинокая мать той старой акацией, которую она же, Павловна, недавно срубил, освободив солнечное небо молодому, растущему клену? А сыновья не клены ли?

Любой рассказ, любая повесть Михаила Колосова наполнены каким-то грустным лиризмом. Удачно использует писатель явления природы для того, чтобы ярче показать внутренний мир своих героев. Читатель без труда поймет жизнь героев книги «Гаврюшкина любовь», даже почувствует себя земляком этих людей. Главное в отношении между этими людьми — это доброта и взаимное уважение. Глубокие размышления автора о взаимоотношениях людей в жизни, я уверен, найдут самую кратчайшую дорогу к нашему читателю.

Игорь ВАСИЛЬЕВ



С верой  
в человеческий разум

К научной фантастике мы привыкли. Нас не удивишь страшными картинами нашествия ро-

ботов или расказами об удивительных открытиях и изобретениях будущего. Ничего этого нет в новой книге Аскольда Якубовского «Купол галактики» («Молодая гвардия», 1976). Автор затрагивает актуальные вопросы современности, пытается поставить важные моральные, этические, нравственные проблемы. Герои его рассказов и повестей не какие-нибудь механизмы или всемогущие «сверхчеловеки», а обыкновенные люди. Даже в самых сложных обстоятельствах они остаются верными своему дому, друзьям. Ради того, чтобы выручить товарищей из беды, они идут на все, даже на смерть, как, например, герой рассказа «Нечто» Коллин и профессор. Они спускаются в кратер вулкана, чтобы выяснить причины гибели двадцати трех человек из экспедиции Плака.

Помогают друг другу не только земляне. В рассказе «Друг» подружился человек и пришелец из другого мира. Вместе им стало легче жить, легче переносить невзгоды. Они привыкли друг к другу, им жалко расставаться.

Герои повестей и рассказов, где бы они ни работали — на Земле или в космосе, — всегда остаются верными долгу. Во имя общего дела, во имя будущего они жертвуют всем — молодостью, любовью, жизнью. Старик из рассказа «На далекой планете» знает, что жизнь — это такая штука, которую «можно изучать и исследовать и все же ни черта в ней не узнать». Он уже коснулся многих тайн вселенной, но не устал от этого, а «хотел, хотел, хотел узнавать». Вот эта жажда познания во имя будущего и есть счастье.

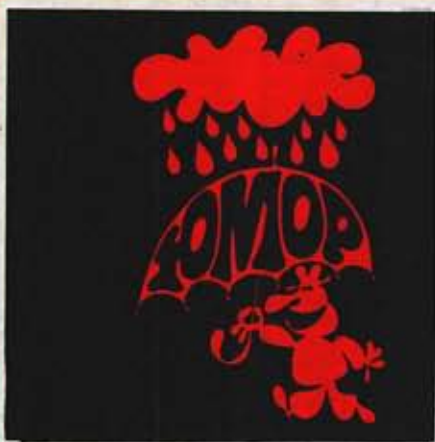
В книге А. Якубовского поставлена такая важная, волнующая сейчас многих проблема, как сохранение равновесия в природе, охрана окружающей среды. Его герои тянутся к природе, тоскуют по обыкновенным земным березкам, цветам, грибам. Борису из рассказа «В складке времени» снится страшный сон — голая земля, на которой все приходится создавать заново. И у Бориса вырывается вопль: «К черту будущее, если для этого надо убивать зверей!»

Взволнованно и предостерегающе звучит голос автора: «Люди, подумайте о будущем своей планеты!»

Добрая фантастика у Аскольда Якубовского. Именно добрая. Люди никогда не будут рабами роботов, наоборот, машины станут первыми помощниками и друзьями людей. Нет в книге Якубовского и картин неестественной урбанизации. Правда, рассказывает он, например, о 500-этажных небоскребах, но тут же рядом — и старый дом с калиткой, и бабушка в пуховой шали у самовара, и шеф института в домашних тапочках.

Язык книги очень сочный, яркий, доступный. Думается, что эта добрая и простая книга понравится всем любителям научной фантастики.

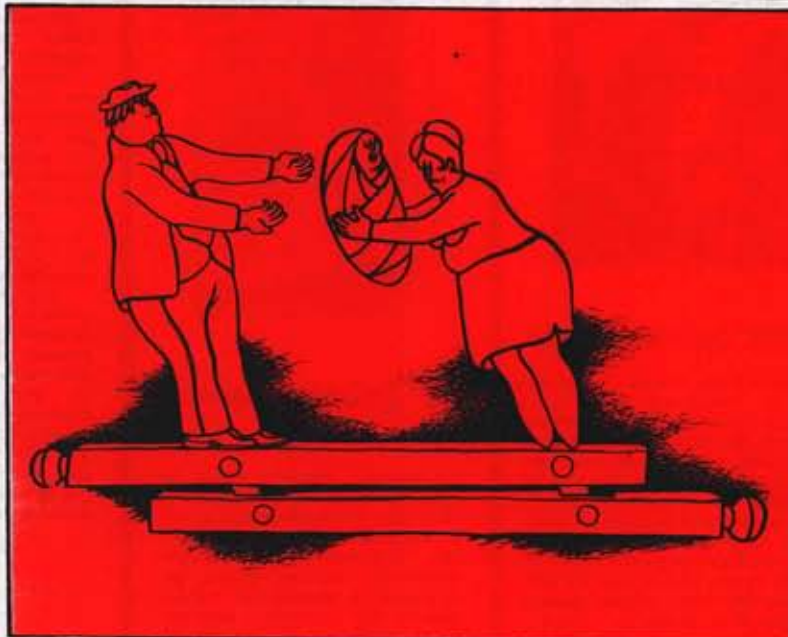
Галина КАРАЧАРОВА



Рисунки  
Леонида ТИШКОВА,  
Леонида ДОНЦА  
и Дмитрия МОСКИНА



Тишков



ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ | Под редакцией заслуженного тренера РСФСР Виктора ЛЮБЛИНСКОГО | ШАХМАТЫ ШАХМАТЫ

19 ШАХМАТНАЯ ОЛИМПИАДА



ВОСЬМОЙ ТУР

Традиционное заочное шахматное соревнование читателей нашего журнала финиширует. В этом номере участникам олимпиады предлагаются задания восьмого, заключительного тура.

КАК ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ?

1. d2—d4 Kg8—f6 2. c2—c4 e7—e5. Как называется этот шахматный дебют? (1 балл).

ТУРНИРЫ НОВИЧКОВ

Кто из «олимпийцев» «Смены» организует и проведет турнир начинающих шахматистов, тому жюри присудит 12 баллов. В таком турнире могут участвовать от 6 до 20 человек, которые не имеют пока спортивного разряда по шахматам. Разрешается провести не свыше двух турниров по 20 играющих в каждом. Если новичков будет от 6 до 11, то встречаются они друг с другом по два раза; при 11—20 участниках играют по одной партии.

Такие классификационные турниры можно организовать на любом предприятии, в учреждении, учебном заведении, независимо от места работы или учебы участника нашей олимпиады. Заметим, что последний может и сам играть в турнире, но при условии, что у него нет шахматного разряда.

Очень важно аккуратно оформить итоговые материалы. Сделать это просто. На обыкновенном листе бумаги расчерчивается таб-

лица результатов турнира, где его участники располагаются не по жеребьевке, а в порядке занятых ими мест. Эта таблица заверяется печатью и подписями руководителя соответствующего коллектива и организатора турнира. В случае, если кто-либо из победителей претендует на получение не начального (четвертого), а третьего или второго разряда, необходимо к таблице приложить записи всех его партий, сыгранных в этом соревновании.

Лучшие популяризаторы шахмат будут награждены дипломами «Смены» и книгами, а шахматистам, которые в турнирах олимпиады выполнят классификационный норматив (60 процентов от общего количества возможных очков), редакция вышлет справки о присвоении спортивного разряда по шахматам.

Если кому-либо из ее участников по тем или иным причинам не представится возможным провести турнир новичков, ему дается компенсирующее (оно, на наш взгляд, потруднее основного) задание — проанализировать и прокомментировать содержательный гроссмейстерский поединок. Вот текст ходов в полной нотации:

1. Kg1—f3 Kg8—f6 2. c2—c4 d7—d5 3. c4:d5 Kf6:d5 4. d2—d4

Cc8—f5 5. Kb1—c3 e7—e6 6. Фd1—b3 Kb8—c6 7. e2—e4 Kd5:c3 8. e4:f5 Kc3—d5 9. Cf1—b5 Cf8—b4+ 10. Cc1—d2 Cb4:d2+ 11. Kf3:d2 e6:f5 12. Cb5:c6+ b7:c6 13. 0—0 0—0 14. Фb3—a4 Лa8—b8 15. Kd2—b3 Лb8—b6 16. Фa4:a7 Фd8—g5 17. Фa7—a5 c6—c5 18. Фa5:c5 Kd5—f4 19. g2—g3 Лb6—h6 20. Фc5:c7 Kf4—e2+ 21. Kpg1—g2 Фg5—g4 22. Лf1—h1 f5—f4 23. f2—f3 Фg4—h3+ 24. Kpg2—f2 Лf8—c8 25. Фc7—a5 Ke2:g3 26. Лh1—g1 Фh3:h2+ 27. Лg1—g2 Фh2—h4 28. Лa1—c1 Лc8—e8 29. Фa5—b5 Kg3—e4+ 30. Kpf2—f1 Фh4—h1+, белые сдались.

Свои комментарии (предельно лаконичные; они должны вскрывать суть борьбы — планы сторон и тактические замыслы) нужно давать с красной строки, в сокращенной нотации.

Запомните, пожалуйста, что письма с решениями и таблицами (или комментариями) следует высылать в адрес редакции не позднее 10 июля с. г. (по почтовому штемпелю отправления). В правом верхнем углу первой страницы письма обязательно укажите свой олимпиадный номер. На конверте сделайте пометку: «19-я шахматная олимпиада «Смены» — 8-й тур».

КАК БЫ ВЫ СЫГРАЛИ?



Ход черных. Как вы оцените эту острую позицию? (5 баллов).

ЭТЮД — ВСЕГДА КРАСИВО!



Белые начинают и делают ничью (5 баллов).

Наш адрес: 101457, ГСП, Москва, А-15, Бумажный проезд, 14. Телефон для справок: 253-30-87. Рукописи, фото и рисунки не возвращаются.

Сдано в набор 18/IV 1977 г. А 02066. Подписано к печати 3/IV 1977 г. Формат 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Усл. печ. л. 5,60. Уч.-изд. л. 11,55. Тираж 1200000 экз. Изд. № 1243. Заказ № 472. Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, улица «Правды», 24.

# ПРОЗРЕНИЕ

Слова Максима ГЕТТУЕВА  
Перевод с балкарского Якова СЕРПИНА  
Музыка Оскара ФЕЛЬЦМАНА

Каштаны свечи разожгли нежданно,  
Расправили широкие листья.  
Не видел я, как хороши каштаны,  
Покуда мне не улыбнулась ты.

Куда ни гляну, беспокойный ветер  
Колелеблет медоносные цветы.  
Не верил я, что столько их на свете,  
Покуда мне не улыбнулась ты.

Коронай снежной увенчав просторы,  
Застыли серебристые хребты.  
Не ведал я, что так могучи горы,  
Покуда мне не улыбнулась ты.

В зените день. Орел кружится немо,  
Всю землю озирая с высоты.  
А я не знал, что так прозрачно небо  
Покуда мне не улыбнулась ты.

Звенит дубрава, зеленеет нива,  
Озера полноводны и чисты.  
А я не знал, что так земля красива,  
Покуда мне не улыбнулась ты.

Все по плечу. Других я не слабее.  
Былинной силой руки налиты.  
Так что ж не ощущал ее в себе я,  
Покуда мне не улыбнулась ты?

## КРОССВОРД

Составила Н. НОВИКОВА,  
Саратов

По горизонтали:

- Танец народов Кавказа.
- Польский астроном XV—XVI веков.
- Автомат, выполняющий на производстве некоторые функции человека.
- Представительница коренного населения автономной области.
- Рассказ А. П. Чехова.
- Пролив, соединяющий Адриатическое и Ионическое моря.
- Опера П. И. Чайковского.
- Денежная единица некоторых азиатских стран.
- Морская птица.
- Немецкий композитор, дирижер XIX века.
- Математическая формула.
- Коралловый остров.
- Река в Грузии.
- Предварительный набросок картины.
- Русский исследователь Средней Азии.
- Русский композитор.
- Высокий женский голос.
- Спутник планеты Нептун.
- Порт в Финляндии.
- Прибор для определения плотности жидкостей.
- Стихотворение В. Брюсова.

По вертикаль:

- Фигурная линейка.
- Струнный музыкальный инструмент.
- Озеро в Казахстане.
- Выбор гражданства.
- Соревнования на спортивных судах.
- Народный поэт Белоруссии.
- Русский писатель.
- Повторяющийся узор на ткани, вышивке, ковре.
- Советский писатель.
- Государство в Западной Африке.
- Порт в Италии.
- Медный век.
- Военно-спортивная игра.
- Пчельник.
- Река на границе Северной и Южной Америки.
- Город в ФРГ.
- Мост через овраг, ущелье.

ОТВЕТЫ  
НА КРОССВОРД  
НАПЕЧАТАННЫЙ  
В № 10

По горизонтали:

- Серпухов.
- Черкасов.
- Ваниль.
- Монета.
- Поддувало.
- Тирада.
- «Венера».
- Гравюра.
- Планета.
- Приклад.
- «Анекдот».
- «Полтава».
- Бастион.
- Обелиск.
- Арбин.
- Рацион.
- Нигрол.
- Тантал.
- Клавесин.
- Бифштекс.

По вертикали:

- «Орбита».
- Пульпа.
- Помидор.
- Центавр.
- Акимов.
- Есенин.
- Спаниель.
- Ватерпас.
- Штурвал.
- Древесина.
- Елизавета.
- Гардина.
- «Аполлон».
- Тамариск.
- Кремний.
- Ассонанс.
- Рагозин.
- Идиллия.
- Хорват.
- Шалфей.
- Ратуша.
- Цандер.

# В горах его сердце



ПАМЯТНИК СТАРИНЫ.

## ДИСПУТ.

«В каждом произведении должно быть сочетание восторга и удивления художника перед природой»,—говорил Мартирос Серьян.

Этот завет старого мастера—опыт его долгого и плодотворного пути в искусстве—вспоминается, когда видишь работы молодого армянского живописца Юрия Бабаяна, потому что иначе как удивлением и чувством восторга перед натурой трудно объяснить волнующую жизненность его пейзажей. И хотя картины Бабаяна захватывают зрителя сразу, присмотревшись внимательней, мы не найдем в них ни экзотики, ни нарочито эффектных столкновений тонов, а живописные задачи, которые решает художник, никогда не ставятся для него самоцелью. Его пейзажи пленяют новизной ощущения простых мотивов и поэтичностью повседневности.

Что бы ни писал художник—селение в горах или старинную крепость, дремлющую на склоне, «дорожный шатер Арарата» или вспыхивающие огоньки абрикосовых деревьев, медленные, размеренные ритмы холмов или стремительные каскады горного ручья,—чувствуется, что он знает то, что пишет, в совершенстве. Но знание этнических и географических особенностей страны—слишком слабый импульс для создания пейзажа, который бы захватил и взволновал зрителя. Пейзажи Юрия Бабаяна захватывают и волнуют именно потому, что рождены не умозрительными наблюдениями родной природы, а чувством удивленного восхищения перед ней. Это и раскрывает художнику и нам, зрителям, жизнь природы Армении во всех ее неповторимых подробностях. Кажется, что кисть живописца только привносит

в реальный пейзаж то, что живет в нем, но невидимо взгляду: апельсиновый колорит горных склонов; ярко-оранжевый цвет камня, точно излучающий трепетный свет изнутри; длинные, прозрачные, синие тени в ущельях, похожие на застывшие реки; пастельно-бархатистое цветение как бы невесомых деревьев; древние строения, словно изваянные природой и ритмически повторяющие очертания гор,—во всем этом живет духовное ощущение страны, переданное зрителю сквозь призму внутреннего мира взволнованного художника.

Легко заметить, что в пейзажах Армении Юрий Бабаян стремится к отчетливости живописного мышления, когда цвет приобретает качества символа, к архитектурной ясности композиционных решений, сообщающих пейзажу простую и убедительную обозримость. Но, говоря о пейзажах художника, мы отнюдь не случайно подчеркиваем морально-этические стороны его отношения к натуре. Для живописца это один из главных вопросов творчества. Нам кажется, что именно в этом смысл его картины «Диспут», отмеченной недавно премией на республиканской выставке.

В самом деле, о чем думают, говорят собравшиеся в мастерской молодые художники? Видно, что решаются здесь не сиюминутные вопросы искусства, а нечто большее. Подчеркнуто строгая торжественность поз, трепетное внимание персонажей, задумчивая одухотворенность лиц, в каждом из которых можно прочесть напряженную мысль,—все это как бы заставляет нас прислушаться к диалогу о высоком назначении искусства.

Алексей НИКОЛАЕВ

## ГОРНЫЙ ПЕЙЗАЖ.

СЕЛЕНИЕ В ГОРАХ.

